

INSPIRIA

Марианна
Діонова
ЮБЕЦАЛІ



INSPIRIA

Loft. Современный роман. В моменте

Марианна Ионова

Рюбецаль

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ионова М.

Рюбецаль / М. Ионина — «Эксмо», 2022 — (Loft. Современный роман. В моменте)

ISBN 978-5-04-166578-4

Рюбецаль – древнегерманский дух гор, который может помочь заблудившемуся путнику, если тот ему понравился. А может и привести его к гибели. Роман Марианны Ионовой вместила форму эпоса в форму трилогии. Ионина подобрала истории о связанности человека и недр Земли. Эта связанность в каждой судьбе работает по-своему. Повесть, давшая название всей книге, пожалуй, ярче всего показывает, как геология может быть не только профессией, но мистическим предназначением... Инго Хубер с детства коллекционировал минералы. И спустя годы, во время Второй мировой войны, пройдя через американский плен и лагерные рудники в Сибири, стал Игорем Ивановичем. Женатым на русской, удочерившем русскую девочку, которая стала ему роднее родного сына, оставленного в Германии. Продолжая верно служить науке, он тосковал по непрожитой жизни... и был ли он действительно Инго Хубером или тут кроется тайна чужой личности? Куда завел его Рюбецаль? Марианна Ионина окончила филологический факультет Университета российской академии образования и факультет истории искусства Российского государственного гуманитарного университета. Публиковалась в журналах «Зинзивер», «Дети Ра», «Арион», «Воздух», «Знамя», «Новый Мир». Автор нескольких книг прозы, опубликованных в России и Чехии. Живет в Москве. С эссе «Жители садов» стала лауреатом премии «Дебют» 2011 года в номинации «эссеистика». Автор нескольких книг прозы, опубликованных в России и Чехии. Живет в Москве. Номинировалась на соискание премии «Национальный бестселлер».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-166578-4

© Ионова М., 2022

© Эксмо, 2022

Содержание

Жизнь рудокопа	8
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Марианна Ионов Рюбецаль



© Ионов М., текст, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022



Ионова Марианна Борисовна – прозаик, критик. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет Университета Российской академии образования и факультет истории искусства РГГУ. Как критик печаталась в литературных журналах, автор книг прозы «Мэрилин» (М., 2013), «Мы отрываемся от земли» (М., 2017). Лауреат независимой литературной премии «Дебют» в номинации «эссеистика» (2011).

Жизнь рудокопа

*Но вот в обеих, в земле, а также и в плоти твоей, сокрыт свет
ясного божества, и он пробивается насквозь и рождает им тело по роду
каждого тела: человеку по его телу и земле по ее телу; ибо какова мать,
таким бывает и дитя. Дитя человека есть душа, которая рождается из
плоти из звездного рождения; а дети земли суть трава, зелень, деревья,
серебро, золото, всякие руды.*

Якоб Бёме. «Аврора, или Утренняя заря в восхождении»¹

*К тем играм в Альпах наш азарт не стих. Мы и сейчас, мой друг,
играем в них. Когда бледнеет в прошлом дивный свет. Наш путь лежит
наверх за ним вослед.*

К. Ф. Майер²

1

Начало этой истории лежит в солнечном ноябре позапрошлого года.

Оно опирается на небывало чистую для позднеосеннего времени твердь, и небесную, и земную. На ясное небо и неяркий, однако, свет, равно и на черные, печатные, как в апреле, стволы деревьев, золотисто-голубоватую взвесь за ними, гладь асфальта, металлически-матовое сияние которого напоминало о водной глади, на распыленную даль – на все, отсылающее к весне.

Тем, что это подобие на поверхности переместилось со мной, когда я спустилась под землю, где отличия времен года только усугубляются в одежде людей, объясняется факт, ставший завязкой истории, а именно свежее пристальное внимание, оживляющее и того, кого оно избирает, и того, от кого исходит.

Я не стыжусь признать, что мой взгляд в поезде метро был весеннего происхождения. Взгляд снизу вверх от меня сидящей на стоящего надо мной мужчину. Он держался левой рукой за горизонтальный поручень, а в правой был раскрытый журнал, достаточно низко опущенный, чтобы мне видеть лицо.

Впрочем, можно ли приписать то, что я стала всматриваться в этого человека, лишь неурочной весне?

Он выделялся. Ростом – очень высоким. Длиннополым черным пальто из толстого сукна, какие не носят с 90-х. Родимым пятном, не столько темным, сколько крупным, вверху левой щеки, под глазом. Наконец, уже для меня лично, его выделяло и, возможно (оправдываю я себя), прежде всего мой взгляд притянуло серебряное кольцо с молитвой на безымянном пальце держащей журнал руки – в точности как у меня.

А помимо: волосы, прямые, тускло-золотистые, обрамляющие лицо, скорее широкое, и прикрывающие уши, чуть закручиваясь концами наружу. Прическа эта, слишком женственная для роста, тяжелого пальто, кондового кожаного портфеля, прислоненного к ноге; для напряженности переносицы и рта, уверенно отнесенной мною насчет личностного субстрата отличной от преходящей естественной сосредоточенности тем, что чтение не вызывает ее, а выявляет, – эта прическа отвечала и всему мутно-гнетуще-тревожно-архаично-основательному, как

¹ Перевод А. Петровского.

² Перевод М. Ребристого.

«рыцарская», сиречь «романтическая». (Не забыть и журнал, узурпировавший место айфона и наверняка разделивший его обязанности на пару с мобильником – ровесником слова «мобильник».) Да, по убедительному, пусть и малодостоверному свидетельству давно листанных книжек с картинками, прапрадед Шумана, пес на Чудском озере или благообразный любовник Ундины, повторился в праправнуке предпочтением именно такой длины. Кристально-бледная голубизна вокруг точечных зрачков, из-за чего глаза попервоначалу казались большими и даже навывкате, хотя были немногим больше среднестатистических, золотистый отсвет на прямых, чуть сально лоснящихся волосах и скуластость, и этот редкий изъян, почти равнодостоинный шраму, и говорящее кольцо, для слишком многих соблазн и безумие, составляли что-то, внутри чего оспаривали друг друга вызывающе-капризное и упрямо-угрюмое, дерзкое и беззащитное, неустойчивое в себе и монолитное, мужское и женское.

Я пыталась вообразить школьные годы мальчика, затем юноши с родимым пятном. Дразнили ли его, скажем, *Горби!* Тогда уж посконнее и циничнее – Пегим, например. Отваживала ли от него девушек эта метка или, наоборот, как любая метка, притягивала? Неужели он не сознает, что даже чуть отстающая от норматива стрижка привлекает праздно-беглое внимание к лицу, стало быть, и к пятну?... Значит, собственный облик как целое ему недоступен, у него нет участливого зеркала других глаз. Ведь настолько не видит себя лишь тот, кого не видит никто бескорыстный, но не беспристрастный. Выполняет ли кольцо с молитвой на безымянном пальце обязанность обручального? Непроизвольность этих вопросов, так легко слагающихся, тоже удивляла меня, хотя и не смущала, более того – радовала, как будто избавляла меня от меня же привычной.

Глядя на него, я читала журнал без обложки, которую отвернутые страницы прячут в себе. Неметафорический, бумажный журнал между тем я не могла читать вовсе: мне доставался слепой обрез, а то, что может быть понято, удаляющее всякую таинственность, слова, кроме гравированных на кольце, находилось по ту сторону, по его сторону.

При подходе поезда к очередной станции он отпустил поручень, сложил журнал (мелькнувшую обложку я рассмотреть не успела), наклонился к портфелю и затем, с портфелем в руке, стал продвигаться на выход. Он встал у самых дверей и, когда те раздвинулись, шагнул первым. И в ту же секунду я поднялась и, почти прилепившись к спинам последних покидающих вагон, вышла на платформу.

Минутой ранее моя поездка еще оканчивалась через две станции, и мой день еще сулил то, что сулил и утром, но мужчина в поезде обнулил его, сбросил, как цифры прежнего счета перед новым таймом. Нет, это я обнулила мною же предрешенное, перерешила его, но только зачем? Пустившись вслед за человеком, который приведет меня в никуда, в приграничную зону между жизнями его и моей, где невозможно находиться, потому что не на чем стоять и нечем дышать, я пустилась в небывалую для себя авантюру, столь же бессмысленную, сколь и безопасную, то есть по бессмысленности и безопасную. Я понимала, что последую за ним до первой же отрезвляющей и отчуждающей меты чужого пространства и поверну назад, и на ходу унижала и стыдила себя, но вот за что? За безрассудство преследования или за безрассудство саморазоблачения перед собой же? Или за недостаточное безрассудство, за отчаянность, тем более жалкую, что оно мне ничем не грозит, что оно – чужое, взято напрокат у собирательной романной героини и умещается в один абзац, вырванный из текста?

Стоя позади него на эскалаторе, я видела небольшую, кое-как зачесанную лысину. Черный массив пальто, особенно под светлым затылком с его ущербной золотистостью, казался вдвойне тяжелым.

И что было моей наживкой – моей для меня же? То есть какую цель я преследовала, преследуя? Но как ответить, не ответив прежде на вопрос о природе единственности, найденной мною в одном из сонма ежечасных пассажиров метро. Среди них встречались диковины, не то что представляющие – воплощающие бронебойный романтический нонконформизм почти

маскарадно... Впрочем, в том-то и крылась их слабость – в не задорого приобретенной полноте выражения, в целесообразности, целенаправленности всех черточек и знаков изыятия себя из презренной злобы дня, в уютной гармонии фронды. Ведь романтическое (согласно Гегелю, по крайней мере мною перевернутому) нецелесообразно, части в нем не подчинены целому, тогда как целое покрывает, примиряя с собою, части. Незрячий до самого себя, мой пассажир не проектировал, не осмысливал своей непримиримости с модой, трендом, каноном – как ни определи, не стремился к ней, а потому не являл какого-либо из щедрой линейки типажей, будь то пользователь эксклюзивно-серийного сплина или владелец дизайнерской модели пассажира. Все, чем он отрицал моду, тренд ли, канон, было единично и случайно, и сама достоверность деталей в общем случайна. Однако скажи я, что он *был самим собой*, как тут же его замкнул бы жадный циркуль скороспелого и самозваного совершенства, на службе у страха остаться Витрувием без золотого сечения, зодчим без проекта, проектом без чертежа, пятном, постоянно теряющим и заново находящим свою кромку. Как теряло на миг его пятно, словно подразмываемое с краю в зависимости от угла преломления света.

Ни одна составляющая его облика еще не говорила сама за себя. Все то, что я отнесла в нем к романтизму, но не округлила до романтизма, существовало не для его рефлексии, а лишь для моего стороннего взгляда. И именно потому не для любого стороннего взгляда как навязанное, указанное, а только для моего. Для моего, «под свою руку» изготовленного романтизма, с которым никто не мог быть сличен, и выдержать, потому что лекала не было. Вряд ли бы кто-либо другой увидел в случайном смешении – черноте и долготе расстегнутого, под собственным весом расходящегося лапами пальто (ладно бы еще кожаного, так матерчатого, с поясом), почти в извращенно-смешном соседстве прически, которая могла бы подчеркнуть благородную нежность юноши, но не придать ее лысеющему мужчине за сорок, и родимого пятна – увидел бы дух. Дух, нелепостью своей формы и неясностью своей сути пугающий, и опять же только меня. А где дух, там и тайна. Тайна, которая мне поручила ее раскрыть, но сначала доделать, доглядеть ее и за нею.

Улицу, где мы вышли, я не опознала, но передо мной тут же восстал скорее образ, чем план, и скорее гений, чем образ, района, в который лет восемь – десять назад меня часто приводила не надобность, а фланерство. Эта неожиданная встреча с тенью давнишней беззаботности была тем более кстати, что мое предприятие начинало меня пугать. Не исходом, мною купированным, обезвреженным, но который, однако, все оттягивался – хотя от меня бдительно не отставала строка вроде электронной, гласящая, что конец преследованию должен наступить чем раньше, тем лучше, и каждую условную межу, только уловив издали, я намечала себе как знак повернуть обратно. Нет, меня пугал не марш на чужое, не то, что могло бы меня подстеречь, как партизанская засада, а, напротив, причина этого захватнического похода. Я сама. Меня пугала та я, которую показал мне не подготовленный даже смутным и скомканным решением рыбок в сторону за мало что незнакомым – неизвестным мужчиной. Пугало звеняще-отрешенное хладнокровие, с которым я прикидывала, не безумна ли. И страх вдруг осыпался, обнаруживая под собой сухую скорбь о себе как об обреченном родственнике.

Коротким рабочим днем был ознаменован канун ноябрьских праздников, и я не сомневалась, что тот, за кем я иду, направляется, как и я, домой. Но впустило его светло-серое четырехэтажное здание в стиле функционализма, оттесненное от обочины небольшим мощеным пустырем-стоянкой, с несколькими разномастными табличками справа и слева от белых пластиковых дверей – деловой центр средней руки.

Все полтора километра от павильона метро я соблюдала не навлекающий подозрений отрыв и дала ему увеличиться, у дверей нарочно помедлив. Когда я вошла, до меня уже доносились шаги на лестнице слева за проходной. Я стояла перед турникетом, приручая неумолимую данность своего бесправия, но опомнилась прежде, чем ко мне обратился охранник. Очутившись снаружи, снова перед дверьми, я, по счастью, додумалась изучить таблички. Нотариаль-

ная контора, столовая (не иначе, как для своих), остальное – офисы фирм. Я списала названия, ни одно из которых не откликлось в памяти. Впервые я сожалела о том, что прежде от моего спартанского телефона ничего, кроме благ его телефонной природы, не требовала, а то до поисков в Интернете не пришлось бы терпеть. Дома, едва разувшись, я включила компьютер. Из-под плохо прилаженных, великоватых, с чужого плеча, англоязычных имен выступали фирмы, производящие оборудование для стоматологических кабинетов, торгующие комплектами постельного белья, предлагающие туры в ОАЭ, кафельную плитку из Италии и грузоперевозки по России... В одни я деспотично его не «пускала», другие милостиво оставляла как вариант. Что-то, что взнуздывало досаду на необходимость довольствоваться гаданием, а затем и его изжить не солоно хлебавши, заточило и мою смекалку, и теперь ее лезвие играючи секло мантры удушливого пораженчества.

Среди офисов был пункт выдачи заказов интернет-магазина. Вместо того, чтобы застолбить за собой первый же календарь со щенятами или набор фломастеров, я отсеивала товар за товаром. Вещь на роль предлога должна была, точно «звезда» в эпизоде, отдать свое лучшее целому, но как часть обогатить его, но смиренно, подстроившись и сообразовавшись. Я прочла эту вещь в сувениры, в память о незадачливой вылазке за пределы себя. Мою привередливость утолил неказистый и несуразный предмет – футляр для ключей, шматок искусственной кожи, словно забракованный при выкройке того портфеля.

Не прошло и десяти минут после того, как я, кликнув на «самовывоз», выбрала из адресов искомый, и мне позвонила девушка-оператор. Бог весть почему, но я опасалась мужского голоса в трубке, как опасалась узреть через стойку выдачи того, благодаря кому существовало светло-серое здание со всеми вобранными ужавшимися возможными мирами. Такая, не по возрасту и по стати, работа не его унижала, а меня обкрадывала – как если бы *deus ex machina* спустился на середине спектакля и к тому же повелел освободить помещение в связи с угрозой пожара.

Столковавшись о том, что пропуск мне будет заказан на первый рабочий день после праздников, я написала письмо своему начальству, испрашивая этот день в счет отпуска.

Мне предстоял карантин двоящихся, как в дурноте, выходных. Коротать их помогал вопрос, попадавшийся на глаза то и дело и между делом, как мои руки. Чего я хочу от того, к которому добиваюсь? Не знакомства. На это я не посягала из чувства меры, а может, чести. Но, пусть не сближение, однако что-то мне нужно, без чего я не успокоюсь. Увидеть его еще раз? Закрепить ничего не держащий узелок, само же событие, к которому отсылает?

Я ежедневно навещала район, где ждало меня – но не раньше срока – светло-серое здание, и я избегала его так же честно и трепетно, как мыслей о единственном, кто вошел при мне в его двери.

Это был старый московский северо-восток, застроенный некогда в меру довоенной индустриальной деловитости, и плотно, и скупно, чтобы после войны не утеснившись вместить жилые кварталы, под рост медленно усыпляемым фабрикам, поновляемым больницам – четыре-пять этажей. Он словно не притяжал быть чем-то более города вообще, до сих пор лишь кое-где меченный неразборчивым и ленивым находом девелопера, и официозно-хипстерское живописное бодрячество еще не покорило его пуританскую безвидность. Он донашивал грифельно-серую штукатурку, алый и палевый кирпич, хворостяные, постные в угоду ноябрю кроны рощ, прикрывающих жилые дома, как растительные ризы – прародителей. Он во всем был скромен и щедр, скромен на краски и объемы и щедр на простор, не терпящий пустоты. Я отражалась в нем лицом женщины без возраста и без макияжа, разве что больше тронутым усталостью, чем мое, но и несравнимо больше – кротостью. Кротостью от долгого молчания, а не от рождения.

Это лицо обещало, не дожидаясь, пока я доведу узор своего желания. Не льстиво-беспечно, а справедливо и потому веско обещанием не убаюкивающим, но утишающим, не уте-

шая. Что все исполнится и придет, хоть и много позже, и придет в исполненности отказа, потери и конца, предвестник которой – тишина, налетающая бурей.

По пути к светло-серому зданию я одергивала свою задиристую веселость, изобличавшую меня перед совестью, как нервный оскал, как несправедная защита-нападение. Я едва ли не надеялась на крах, который мог быть засчитан как смягчающее вину обстоятельство и который был почти единственной вероятностью: откуда было мне знать график работы того, кого я собиралась подкараулить? Да и ничто не давало уверенности в том, что сюда на моих глазах его привела накатанная рутина, а не случай, как заказчика, покупателя, просителя.

Помня, что в прошлый раз оказалась у делового центра между четырьмя и половиной пятого, я для перестраховки положила себе быть на месте не позднее четырех. Сорокаминутное стояние на посту – поблизости не было ни скамьи, ни пригодного бордюра – понемногу оглушило, и грубую эту корку конечной вечности не могли прокусить выющиеся вокруг стыд и тревога. Тем чувствительнее впились жала, стоило показаться черному пальто и – выше смотреть я боялась – кожаному портфелю, в раскачке которого отзывалась ширина шага.

Я поспешила войти, предъявила вахтеру паспорт в обмен на пропуск и, толкнув перекладину, ринулась к лестнице, перед которой и замерла. Пропустив его на пару ступенек вперед, я осведомилась, правильно ли иду в пункт выдачи заказов.

– Правильно, – он обернулся сверху через плечо, – вам на третий этаж, налево по коридору, и там увидите. – Голос у него был не высокий и не низкий, мелодичный, чуть гулкий. Снова он предвещал меня на подъеме, и я смотрела в его затылок с казавшимися еще светлей поверх проплешины волосами, на широкий пояс пальто, на расслабленную ладонь, перехватывавшую перила с той же ложной бездумностью, с какой я за ней наблюдала.

Он поднимался выше, на четвертый.

Я свернула в левый коридор даже слишком проворно. Пока девушка за стойкой выдачи, по голосу – мой же оператор, снимала с полки сверток, разрезала ножницами скотч и пупырчатый целлофан, изнутри меня тщила пробить целлофан благоразумия и порвать скотч хорошего тона трель, птичий позывной, выстрел децибелами по одиночеству в счастье или беде – вопрос, признание, самое беззаботно-пустое замечание о соседях сверху. Что угодно, приобщившее бы эту девушку к моей эскападе, разрядившее бы в нее накопленный за эти праздничные дни и праздничные минуты восхождения ток.

Но мой как на углях пляшущий голос прозвучал лишь словами благодарности и прощания.

Я мешкала покидать вестибюль, темноватый, но настолько партикулярный в своей свободе от каких-либо признаков, что не мог называться ни мрачным, ни даже унылым. Щелкал турникет, впуская и выпуская, а я, как несколько дней назад, не в силах была развязаться и поставить хотя бы многоточие.

Уже оперев ладонь в перекладину, я повернулась к вахтерскому окошечку: тот мужчина в черном пальто, который прошел до меня... И хотя я решила скорее на облегчительное кровопускание, чем на выпытывание чего-либо у вахтера, которого миновали после мужчины в черном пальто десятка два мужчин, тот почти дружески подхватил: из**

Он приготовился выслушать мой бесстрастный и гладкий, как стальная перекладина турникета, вопрос. Я пробормотала, что обозналась, и выскочила вон, спеша свериться с одной из табличек. Интернет подтвердил дома то, что припомнилось по дороге. Эта фирма производила карманные фонарики, а может, лишь торговала ими, но ничем больше. У нее не было ни сайта, ни страницы в соцсетях. «Яндекс-карты» давали, правда, два контактных номера: городской и мобильный. Я набрала второй. Мне ответил чуть искаженный поношенностью обоих, моего и другого, аппаратов голос, который я впервые услышала на ступеньках в светло-сером здании.

«Продаете ли вы в розницу или только оптом?» – «Разумеется, продаем и в розницу, но со склада, подъезжайте на склад и выбирайте, у вас есть на чем записать адрес, или лучше послать вам его в смс?» – «Диктуйте, я запишу».

Купить – вряд ли у него, маловероятно, чтоб он был и за кладовщика, – фонарик, сломать, позвонить и пожаловаться на низкое качество? Но моя отчаянность, видно, достигла пика и теперь повернула вспять. Я не поехала на склад и провела следующие два дня так, как проводила их до нынешних ноябрьских праздников. Доверилась ли я Богу или только выдохлась, одно ясно: пару часов спустя после предварительного сговора о покупке я снова себя узнавала в той, которая разбросанно болтала с родителями, заваривала чай, читала текущую книгу и смотрела передачу канала для путешественников. Она будто бы этим утром выписалась из больницы, где ей была сделана недолгая и несложная, но неотложная операция.

От продавца фонариков, как я его, конечно же, про себя не определяла, но до сих пор не дерзнула определять хоть как-то, я не отреклась и вообще не отреклась ни от чего, а лишь отказалась, и то не отказалась, а просто, когда иссякла инерция пущенного безумием колеса, согласилась, что так лучше.

На третий день вечером я на себе испытала описанное явление: телефон только подал первый сигнал из сумки в прихожей, но я, хотя не ждала звонка, знала, кто звонит.

«Вы не приехали на склад. Не могли бы вы сказать, почему передумали?»

Я села на пол. Собственно, я удержалась в последний момент, чтобы, послушно телу, не лечь на пол навтыжку, но достоинство выручил рассудок, напомнивший о родителях, которые могут меня увидеть.

«Потому что мне не нужен фонарик».

Пауза. «Кажется, я знаю, *что* вам нужно».

От догадки о его догадке меня накрыл смех, но зато лицо матери, заглянувшей из комнаты, вынудило подняться. Нет, на самом деле я не поднялась, а рухнула – вместе со смехом, валившим, как оползень, на обломки того, что грохотом своего падения лавину и вызвало.

«Мне не нужны наркотики!»

«У меня их и нет. Но, судя по вашей реакции, вы не от моей матушки. Как помилованная, я робко опешила. Не от нее. Я с ней даже незнакома. Тогда... Тогда не понимаю».

В тоне его не было колкого нетерпения. Растерянный, но не рассерженный, а, похоже, и заинтригованный, он не заслужил уверток, и уж если я тратила его время, то покрыть траты должна была чем-то редким и ценным, к тому же всяко полезным для нас обоих.

К маме присоединился отец, поэтому я прошла с телефоном в ванную и закрылась.

«Вы когда-нибудь шли за понравившейся незнакомой женщиной, просто чтобы узнать, куда она идет? Где работает. Как звучит ее голос».

Долг этих дней я платила честностью и за честность удостоилась венца – голову объела пульсирующая ледяная боль.

«Нет... но я вполне способен такое себе представить. (Его тонкость превышала отметку сочувственного минимума.) В том смысле, что это нормально...»

«Пожалуйста, простите за то, что отняла ваше время попусту и напрасно обнадежила. Я поспрашиваю коллег, возможно, кто-то ищет карманный фонарик. Да и сама куплю у вас...»

«Вам удобно подъехать?...»

Я еще занималась своей триадой, возясь в ней, как в искусственной, особо вязкой грязи, а его слова уже были тут, и я отпрянула на них, словно ненароком ступив из лужи на сухую почву. И, как уличенный в проделке ребенок выпаливает, что это не он, выпалила, что завтра весь день работаю.

«Я тоже. Вам удобно *в субботу* днем подъехать на “Дмитровскую”?»

Венец врезался в черепную кость словно бы напоследок.

«На “Дмитровскую”?..» Я не уточняла, а как бы проверяла, понимаю ли смысл слова, вспышкой боли засвеченный.

«Там несколько выходов, так что давайте встретимся прямо внизу, в центре зала. Когда вам удобнее: в час, в полвторого? В два?»

В час.

Тогда до субботы.

До субботы, повторила я, и он отключился.

Чем объяснить, что с нас все-таки не довольно получать только сторге, родственную любовь, и необходимо, чтобы хоть раз чужой, свободный человек вдруг по собственной воле пошел за нами? Не *инстинктом же продолжения рода* из советского учебника биологии для старших классов (почему тогда не гнездования?..). Скорее нам хочется, чтобы нас любили незаслуженно, но чтобы мы при этом ничего не должны были за эту незаслуженность, как должны родным, даже зная, что они ничего в ответ не ждут, – мы сами ждем от себя отдачи им. Чувство человека со стороны просто падает на вас вдруг, но падает именно на вас, этому чувству почему-то нужны только вы, а почему, ни вы, ни тот человек понимать не обязаны; выпадает благодатно-блажными осадками, уверяя в непредсказуемости благодати и в законности блажи. То есть в нашей оправданности.

По пути к «Дмитровской» я повторяла, уже дремотно, поскольку давно отточила и затвердила инструкцию: какое предложение отвергну сразу, над каким подумаю, но знала и что, для чего бы ему ни понадобилась, безоговорочно соглашусь, и решимость уже не пугала меня как первая ласточка психоза, как маска на самоуничтожении. То, к чему я неслась, сидя в вагоне с сумкой на коленях и сложенными поверх сумки руками, не могло навредить мне. Это знание (не убежденность, не вера) уже было во мне, когда я проснулась, – покоем, который я вынесла из крепкого сна, и скорее покоем-знанием, чем мыслью-знанием, и тем более прочным, чем менее правомочным.

Но что я знала о человеке, для которого наша третья по счету встреча – свидание вслепую? Что он в ссоре с матерью, что его бизнес дышит на ладан, а потому, вероятно, он работает в двух местах, деля день между ними.

Я смотрела на то, на что эти несколько дней запрещала себе смотреть. Не зажмуриваясь, я видела разложенные на косой пробор, свисающие вдоль щек волосы, родимое пятно, кольцо с молитвой, журнал в правой руке, водянисто-голубые глаза, и я спрашивала:

– Ты любишь меня?

Он стоял чуть сбоку от черного литого барельефа в торце, вполоборота к платформе, противоположной той, на которую я сошла, и держал обеими руками, у живота, букет бледно-розовых георгинов. Когда я приблизилась не с той стороны, откуда меня ждали, он повернулся, не резко, а как бы отставляя на время некое размышление. Углы губ его пошли вверх, брови же были чуть сдвинуты, что могло выдавать принуждение себя к улыбке, но тут значило обратное: нахмурился он заведомо, а улыбнулся – на меня, как на нечто гораздо менее безнадежное, чем сулил разговор по телефону.

Я поблагодарила за букет, правдиво добавив, что люблю георгины, и придержав, что раньше мне вообще не дарили цветы.

– Это георгины? – Он глянул на свое подношение со спокойным любопытством.

Что открывала мне его деланая ровность? Ему хотелось увидеть женщину, так далеко зашедшую в своем интересе, и вот он видит. Ему остро хочется узнать, когда и где я увидела его, при каких обстоятельствах, как выяснила место работы, однако он молчит, боясь быть бестактным, но и не в силах сронить что-то вопиюще необязательное, безразличное, предсказуемое. Он не решается запустить программу, которая конвертирует меня в то, что легче всего принять и открыть, – в заполнение промежутка между последней и очередной длительной свя-

зью. Не решается потому, что наш незванный, даровой случай обязывает к бережному обращению – слишком уж хрупок тщеславной и утлой хрупкостью: то ли хитрое изделие, то ли ломкий хрящ.

Он представился Кириллом, я назвалась, и мы как будто поставили подписи под свидетельством о том, что встреча – ошибка. Мы признали, что в тупике, куда нас завела ненасытность: перейдя рубеж телефонного разговора, мы переступили через триумф, после которого следовало почивать на лаврах. Мы попрали нашу награду – и отменили победу.

Та, в вагоне, готовая служить чем и чему угодно, проехала «Дмитровскую» – ее дожидался запасник, архив, хранилище не востребованного возможного. Я не досмотрела фильма, на место героини которого со сладостной прилежностью подставляла себя в каждом кадре, но тоскливо-страстное самозаклание экранной бедовой меланхолички свертывалось, стоило только подставить ее на место меня. На своем единственном месте в той же, но трехмерной истории я могла быть только ничтожным средством к ничтожной цели.

На эскалаторе он пропустил меня вперед и еще отступил вниз на пару ступенек – механическая галантность или соображение выгоды для обзора, но то, что теперь, легализовавшись, уже я стою выше и впереди, и пристыжало меня, и тяготило стыдом за него.

Как только мы вышли на улицу, Кирилл спросил, хотела бы я погулять или посидеть в кафе. Я выбрала кафе, чтобы больше не нести букет, упруго валившийся то влево, то вправо. Прогулка между тем досталась в придачу: ведь если Кирилл жил где-то здесь, то ел либо дома, либо вблизи работы, стало быть, и здешний общепит существовал для него немногим более достоверно, чем для меня. Среди вывесок, мимо которых мы шли, попадались и вывески заведений быстрого питания, но таких, где ритм задан бургером – утрамбовывать в этот ритм беседу было бы смешно. Подходящим показалось кафе азиатской кухни на другой стороне улицы. Я не навыкла посещать такие места, да и Кирилл, вероятно, судя по равнодушному замедлению, с которым повел меня вдоль столов. Мы сели за последний в ряду у окна. Кирилл снял пальто, и я вспомнила, что тогда, в вагоне, одет он был так же: черные кожаные брюки и оливковая рубашка, из матово-переливчатой, имитирующей шелк ткани.

Я заказала только кофе, и Кирилл вдогонку – кажется, просто чтобы услать официанта. Тот, почти благоговейно вызволивший от меня цветы, через некоторое время поставил их на стол в стеклянном кувшине для лимонада.

Изумление Кирилла нашим одинаковым кольцам, как всякое безотчетное и бескорыстное изумление, вышло радостным, и я первой, за него, внутренне осеклась, но тут же и он, глянув на меня коротко, чуть откинувшись и стал смотреть в окно.

Я сказала, что свет совсем апрельский. Нет, Кирилл покачал головой, слишком много меди – апрель скорее серебряный. Приложив его «медь» к тому, что видела, я сразу уверилась, насколько он точен. Медная искра бежала по каждой волосяной грани, и песочная розовость оседала на плоти и на бесплотном, пригашая изжелта-газовые рефлексy, разрыхляя остроту свечения. Равно голуби и «сталинский» вал фасадов, укреплявший тот берег Бутырской улицы, обменивали сизый пепел масти на эту розовую соль, и в воздушной середине между асфальтом и небом, в самом воздухе этого, для глаз и дыхания, пространства цвет оживал; цвет возвращался свету и его пальцами мимолетом разносился повсюду – сдержанно-семейная обоюдная ласка твари.

За то, что я это вижу, способна видеть, даже теперь, когда я не одна, за то, что оно не исчезло рядом с Кириллом, за это я была благодарна Кириллу.

Да, скорее сепия. Может, сравнение с металлами ему ближе, предположил Кирилл, потому что его специальность – металлогения, он окончил Горный институт. Мне, перехватила я, пришла на ум метафора из области фотографии потому, наверное, что – «фотос», свет, а не потому, что я фотограф или художник. Я всегда невольно отмечаю, какой свет, – не знаю, откуда это, но сколько себя помню. И меня уже давно интересует философия света. Гегель

называл свет первым «я», источником субъективности, то есть различения, личности в чувственном мире, который был бы иначе лишь грузно, непроницаемо, невыносимо-вязко объективен. Но верно и то, что свет не смотрит на лица и примиряет различия...

Но ведь я не философ? Профессиональный, он имеет в виду. С дипломом.

Надежда и безразличность в его тоне застали меня врасплох, как волна из-под колес проскочившего на пешеходный «зеленый» автомобиля.

Нет. Диплом у меня документоведа. А профессия, как в трудовой книжке значится, – делопроизводитель. Но о философском факультете я действительно всерьез подумывала и в старших классах, и даже на первом курсе Историко-архивного, чуть было не собралась переводиться, но, видимо, мне, слава Богу, дано трезво смотреть на вещи – трезво не для философии, а для того, чтобы оценить свои способности, может быть, не спорю, и, как вы дали понять, сомнительные просто по факту пола...

Что значит «дал понять»?

Ну, мне показалось, может, я ошибаюсь, что вы к женщинам профессиональным, дипломированным философам относитесь иронически.

«Я?!» Как первое его изумление походило больше на радость, так это было дистиллированным изумлением, не шутливым, не оскорбленным, но в своей образцовости доверчивым. Сто процентов показалось. Его родил профессиональный философ, буквально родил, – какая уж тут может быть ирония. Мать – доктор философских наук, профессор, член-корр. РАН. Он помолчал. Так что я должна извинить его, он совсем не хотел меня задеть.

Я спохватилась о Горном.

Да, он изучал горное дело, конкретнее – обогащение полезных ископаемых, в дипломе у него так и значится. Только пусть я сразу забуду куваевские романы и весь этот задушевный мачизм. (Мне было нечего забывать.) В горную промышленность он не стремился, со старших классов метил на геофак МГУ, при котором посещал студию, а до нее кружок при минералогическом музее имени Ферсмана. Он мечтал посвятить себя минералогии, а именно, геммологии – науке о самоцветах, правда, и кристаллохимию рассматривал как более общее направление. Но Бог ссудил так, что он попал в Горный, хотя иначе как теорией заниматься тогда еще не мыслил, твердо знал, что будет ученым-геохимиком. А что диплом писал по обогащению драгметаллов, предпослав, таким образом, себе прикладную специальность, – то так сложились обстоятельства. Подавляющее большинство – ну или, по крайней мере, когда он поступал, таковых еще было большинство – идет в геологи ради образа жизни, ради экспедиций, это радикально иной человеческий тип, с представителями которого ему никогда не удавалось найти общий язык. Они всерьез мнят себя *последними романтиками*. Между тем нет ничего более антиромантического, чем экспедиция. Он был в экспедиции однажды, и одного раза ему хватило. Миф экспедиций стоит на двух заблуждениях: что если ты проводишь в них жизнь, то, значит, тобою движет любовь к природе – раз и бегство от социума – два. На самом деле в экспедиции легко дышат те, у кого социальный инстинкт переразвит, пчелиного уровня, которым пресловутая природа вне общения с себе подобными задаром не нужна. В экспедициях ты постоянно среди людей. Невозможно остаться наедине с собой. Не *одному* – это-то пожалуйста, правда, максимум на час, – но не наедине с собой...

Он же мечтал не о мужском бродяжном братстве, а о камнях и металлах, которые любил еще в отрочестве, – драгоценные камни и металлы прежде всего. Все началось со школьной экскурсии в Кремль, их, четвероклассников, повели смотреть Оружейную палату, и, пока девчонки дивились на платья всяких Екатерин, а парни – на мушкеты и пищади, он не мог оторваться от окладов, потиров, панагий, царских регалий. Он впервые видел драгоценные камни и тогда же понял, что ничего прекраснее не увидит никогда, что ничего более прекрасного просто не предоставлено человеческому зрению. По счастью, сгоряча он поделился восторгом с матерью одноклассника, которая их сопровождала, и та рассказала ему о музее имени Фер-

смана, куда он на другой день помчался и бывал там уже при всякой возможности, а вскоре записался в кружок...

Меня уже распирало имя аббата Суггерия, так ладно и навечно объединившего собою наши пристрастия – философию света и драгоценные камни, и что-то вроде многоточия в монологе дало мне отмашку. Рефлекторное недовольство моим перехватом и новизна имени сначала насторожили Кирилла, но он пожелал узнать, о чем я, и в итоге богослов и строитель, чье восхищение блеском камней как физической зримостью того Божественного света, о котором учил Псевдо-Дионисий, создало цветной витраж, – малый средневековый гигант представил ему свои плечи для опоры.

Вот это и есть любовь к природе. Любовь, основанная на знании и *понимающем* наслаждении. Только такая любовь неэгоистична, потому что ей достаточно своего предмета издалека. Любить ходить в горы не значит любить горы. Чтобы любить горы, необязательно подниматься на них и совсем уж противно любви их покорять.

Но он-то горы любит?

Смеет утверждать, что да.

«Это злое усердие в удвоении, усилении, *сметь утверждать*, эта надменная задиристость – не ресентимент ли, – думалось мне, – обожателя гор, подвигающегося по коммерческой части? Идеал одинокого восхождения, банальность про любовь издалека – романтизм, тем и вполне ходовой, и людный, открыточный, как «Странник над морем тумана», *Auf die Berge will ich steigen*³, вырос передо мной, вспугнув прежний, ранненоябрьский, только мой». Но и этим, принадлежащим Кириллу, кондовым, как его кожаный портфель, я понимающе наслаждалась.

«...Совершенно лишне доказывать кому-то или самому себе любовь к горам, связывая с ними профессиональную деятельность и тем более досуг (от альпинизма его тошнит; а от высоты?...)» – подумалось мне безо всякой, впрочем, издевки). Как эта любовь проявляется у него, вообще едва ли можно продемонстрировать. Так сложилось, что работал он всегда только в пределах Москвы. И так вышло, что практически никогда не по специальности. Одно время профессионально занимался музыкой. С другом и однокурсником Иваном, плюс еще трое из Института стали и сплавов, они играли – не смейтесь – индастриал-метал (а что еще?), вдохновлялись «Rammstein», разве что размах и уровень были по возможностям и способностям: получалась *Neue Deutsche Härte*, «новая немецкая тяжесть» на русский лад. Из уважения к «первоисточнику», точнее, преклонения, Кирилл дважды брался учить немецкий и со второй попытки освоил бы азы, кабы не Иван, убедивший-таки, что главное – не буква, а дух. Группа называлась Konrad. Никакого особого смысла здесь нет, это анаграмма его инициала и фамилии – К. Андронов. Они выступали в ДК, а как-то раз случился и стадион, на разогреве у одной команды из Германии, название которой вряд ли мне что-то скажет. Группа продержалась, однако, шесть лет, был даже записан альбом, который, правда, расходился потом еще лет десять, но, в конце концов, весь тираж был продан, а это немало.

Тевтонская нота, которую я считала своим домyslom, никому и ничему, кроме меня, не обязанным и Кириллу ни к чему не обязывающим, теперь точно динамиками приближенная, ударила по барабанным перепонкам, хлестнула через край, обесценив мой вклад. Чувство, будто меня разжаловали, уравнивали, лгали, моя проницательность, хотя и слишком чудесная, чтобы не быть поддачками мне Провидения. Она, эта нота, уже вплелась в мое понимающее наслаждение грамотной, хорошо артикулированной – правильной, спрямленной речью Кирилла.

Кстати, вся фирма – они двое с Иваном; это Иван нашел поставщика, зарегистрировал бренд, снял офис, а Кирилла позвал коммерческим директором, что было не совсем последо-

³ Гейне. Путешествие в Грац.

вательно. Они хотели бы расширить бизнес, торговать не только фонариками, но и разными светодиодными лампами, однако ниша уже плотно занята, а с тех пор, как фонарики встроены во все гаджеты, дела идут откровенно плохо. Так что он уже год как на полставки преподает основы геологии в Строительном колледже. А до их с Иваном бизнеса поработал в нескольких инжиниринговых компаниях.

Говоря, Кирилл иной раз исподволь прокручивал кольцо, довольно свободно сидящее на пальце, – само по себе движение не было нервно-суетливым, но все же очевидно навязчивым. Когда он улыбался, напряжение, тоже, как и речь, выправленное, спрямленное, словно натягивалось, особенно если Кирилл молча слушал, склонив голову набок, и давало на выходе приторность. Когда же он нарочно серьезнел, например подтрунивая над собой времен музыкальных опытов, то лицо его, наоборот, расслаблялось, делалось ясно и мирно-скупным.

Он не каждую секунду мне нравился, а иную – был неприятен, но я любовалась им.

Извинившись за, возможно, слишком личный вопрос, я спросила, почему все-таки не МГУ, а Горный и что заставило его поменять теоретическую науку на прикладную.

Вопрос личный, но есть личные вопросы, на которые стоит отвечать, и он ответит. На геофак МГУ был большой конкурс, по сведениям из проверенного источника, собирались нещадно «валить», а попасть в «отвалы» значило армию. Он решил подстраховаться Геолого-разведочным институтом, благо университет всегда проводит экзамены чуть раньше других вузов, но руководитель кружка посоветовал Горный, куда Кирилл и подал документы после непроходного балла в МГУ, и, как уже сказал, Бог судил за него. А направление на третьем курсе Горного поменял потому, что маячило создание семьи, в итоге сорвавшееся, и он, не без некоторых мук, конечно, решил иметь специальность более перспективную с точки зрения трудоустройства и достаточного для прокорма семьи заработка.

По умолчанию я перенесла выданный мне лимит и на второй сугубо личный вопрос, защищаясь перед собой тем, что, упомянув о сорвавшемся браке, Кирилл не может не ожидать засева им самим подготовленной почвы.

Нет, семьи нет и сейчас. Женат он никогда не был, живет один. А я не была замужем, правда, и планов на этот счет не вынашивала, живу с родителями.

Чем дольше длилась встреча, тем дальше нас разводила, но, вопреки разрушительной избыточности того, что длилось, пока мы сидели друг против друга, я была счастлива. Это, длящееся, было нашим ребенком, и премиальные цветы, туповато громоздящиеся в вазе, словно все поздравляли и поздравляли меня, не умея остановиться сами, пока их не уберут с глаз. И пусть «новорожденный», сразу встав на ноги и не нуждаясь в заботе, великодушно отторгнул родителей. Бесплодное само стало плодом, разрешив собой и избавив «мать», да и «отца» от круговорота сожалений о нерешительности и угрызений об опрометчивости. Но тогда уж это родители выпростались из плаценты мелкого маловерия, скаредной самоохраны. Преступив, да, неблагоговейно преступив, приступили к жизни – вызывая под землей, – к жизни на вольном воздухе.

Когда я сказала, что заплачу за свой кофе, Кирилл не стал натужно протестовать. С заботливостью, клонящейся в деловитость, он поинтересовался о следующем разе: где и когда мне удобно. Нигде и никогда. Я сама удивилась верному тону и единому выдоху. Я очень счастлива. И буду счастлива еще долго. И поэтому следующего раза не будет. Он не нужен.

Кирилл не позволил мне насладиться этой, к нему относящейся, ему воздающей честь, горно-белоснежной необратимостью.

Кому? Мне следующий раз не нужен? А если нужен ему?

Его почти возмущение было настолько поперек, что и меня почти возмутило, вырвав: «Как это?»

А вот так. Я счастлива – флаг мне в руки, но то, что произошло, касается нас обоих. Я не могу поэтому просто сбежать. Он констатировал, до такой степени не прося, что даже

не упрекая. Я именно сейчас ему необходима. (Утвердительно поясняюще смягчилась.) И я не должна бояться: он не сделает мне ничего плохого. Он произнес это без снисходительного поддразнивания волокиты, которому льстит девичья опаска. Не прося, он просил и всей возможной для себя пуританской серьезностью вкладывался в эту просьбу. Просьбу, которая, недвусмысленно, ясно, как на просвет, не касалась мужского и женского.

Но зачем была я необходима? Вызвать чью-то ревность? Устрашить или, наоборот, умиротворить его матушку? Обеспечить ему фиктивный брак? Ничто из этого не стоило моего страха.

Я и не боюсь его. Тут дело в другом. Просто по пути сюда все успело закончиться. *Слишком быстро все закончилось...*

Из памяти подло высунулось, что так говорят о половом акте, и меня, наверное, бросило в краску. Но либо Кирилл был чище меня, либо я была для него чище его, а значит, и меня подлинной.

Ну, раз так, раз все закончилось (не только тон, но и голос его пустотело, в горькой легкости от обиды приподнялся), тогда он может открыть мне без обиняков, что вынес из нашей встречи.

Эта «встреча», которая у меня внутри всегда опережала «свидание», укоряла меня. Укора мне от меня же, которой вдруг стало больно не знать и не узнать никогда, о чем он собирался просить.

Разобрать, за себя или за него эту боль, а вернее, разлепить ее на боль за себя и боль за него, не получалось тем паче, что я уже видела подоплеку моей вероломной принципиальности – прежде всего, если не *лишь* сознание несексуальной и неромантической сути его нужды во мне.

Где та точка, в которой я уже знала об этой сути, а посему и знала, что бояться мне нечего? Я понимала это уже в вагоне. Постановщица, исполнительница и зрительница малобюджетной урбанистической драмы, не без – благопристойной, вымученно-атмосферной – эротики, с обязательным катарсисом открытого финала. Перебирая, что с ходу отклоню, как особа порядочная и воцерковленная, а что взвешу, и не собираясь отклонять ничего, я обманывала себя с другим обманом. Как особе порядочной и воцерковленной, мне тем дешевле давалось парение над предрассудками, что пикировать на них и рвать в мясо заведомо не придется. Полно: неужели я верила в то, что на станции «Дмитровская» фантазия и *жизнь* сыграют химическую свадьбу, что человек, к которому я приближаюсь, заговорит со мной немного отретушированными репликами сценария? Не по добродетельности или чистоплюйству я не могла быть ничтожным средством к ничтожной цели, а потому, что цели как истца и целомудрия как ответчика нет. И жертва (по пути), и отступничество от нее (по прибытии), и безоглядность, и своевременная разумность летели в молоко, но прямой, моей же наводкой.

Я понимала все еще за два дня, с вечера среды, с телефонного разговора, если не прежде звонка. На платформе понимала, что он в мыслях не имеет заполнять мною паузу, – не потому, что опять-таки сверхъестественно чистоплотен или милосерден, а потому, что любила я, а не он, я искала его, а не он меня, я нуждалась в нем, а не он во мне.

Но это ведь означает еще один радиус самообмана. Безотчетно успокоенная тем, что заранее соглашалась на все, чего он от меня захочет, дурачу себя, сочиняю себя и его, я тем самым по-настоящему заранее соглашалась на все. На его настоящее «все», а не сочиненное мною. На «все» как на круглый ноль. Понимая, что назначенная мне встреча – подачка, ну, не так патетично, отправление чуткости, я зачем-то ведь ехала на «Дмитровскую». Ноль подрос до единицы: от меня все-таки что-то нужно, но что-то буднично-благонамеренное, опрятно-человеческое.

Но теперь, когда самый внешний обруч самообмана лопнул, переигрывать поздно. Поставить себя перед ним в той невинности, которую он боялся смутить, вернуть себе эту невинность

– я не представляла, как взяться. С одной стороны, раз решила за нас я, то у меня было право отменить решение, с другой – после того как я объявила, что все закончилось, все закончилось и для него, здесь уже он был в своем праве. Напрямик извиниться? Или окольно, любезностью показать, что откладываю бегство и готова к услуге?

Так что же он вынес?.. Когда на платформе он меня увидел, мой взгляд и как я взяла букет, то понял, что это не жалость.

Последнее слово, вопросительно повторенное мною, он выговорил почти горделиво, даже подбородок как будто чуть подался вперед, так что шея стала заметнее.

Да. Жалость. Он притронулся к пятну костяшками пальцев, не опуская подбородка и продолжая глядеть на меня в упор. То есть сначала он думал, что я посредник его матери (так уж вышло, что напрямую они с некоторых пор не общаются), а когда выяснилось, что нет, предположил, что я... просто проявляю сострадание, в котором, как мне кажется, он нуждается.

И он не рассердился?

Зачем?

Не почувствовал себя оскорбленным?..

Зачем... Напротив. Решил посмотреть на человека, который отважился сломить инерцию, по которой мы все движемся друг мимо друга, можем даже наступить на самолюбие, прикинуться... изобразить увлечение, чтобы другой человек поверил в себя. Подарить другому человеку... надежду... На слове «надежда» он повел плечами, как бы отдавая его тем, кто охотнее и увереннее им пользуется.

Но когда... (Кирилл опустил глаза и прочистил горло, и на миг мне до ненависти стало страшно, что он сейчас прослезится.) Когда я появилась, тут он совсем растерялся, потому что увидел, что... что это не жалость, а...

Он понял, что перемахнул и подать назад невозможно. Это был самый момент, чтобы, придя ему на помощь, спасти себя.

Так зачем я необходима ему?

Это уже не важно.

Небрежность скороговорки наказывала меня, но я не далась. Важно.

Хорошо. (Он словно ставил тире вместо звена «Пеняйте на себя».) Ему нужна сестра.

Медицинская?

Чья-то, подложная язвительность другим концом огрела меня саму, но Кирилл или не уловил ее, или наскоро простил, или принял как заслуженную.

Нет. Родная.

Это связано с наследством? Я не буду участвовать в юридических махинациях!

Мое самоотвержение треснуло с мстительным вкусом, как вдруг трескается расхваленное изделие на глазах покупателя. Но Кирилл простил мне и это: улыбка, которая вывела на его лицо мое уже второе после «наркотиков» подозрение в криминальном умысле, пусть и искорверканная наконец объединенными силами приторности и напряженности, еще упорствовала быть нашей связкой, нашей перемычкой.

Он же сказал, что мне нечего бояться. Только заранее предупреждает: то, что он сейчас будет говорить, возможно, и даже наверняка никакого отношения не имеет ко мне настоящей, так что я смело могу не принимать на свой счет того, что покажется чересчур. Ну, покажется бестактным... Так вот, мой взгляд, когда я подошла на платформе. В нем была уязвимость. Не то чтобы стрелка развернулась и он понял, что это я нуждаюсь в *его* жалости, не то чтобы я смотрела на него не сверху вниз, а снизу вверх – фигурально выражаясь, понятно. Но когда ему открылось, что я не жалею его, а... Скажем так, для меня он кто-то, кого жалеть не за что... Тогда-то он вспомнил, что всегда мечтал... Лет в шестнадцать-семнадцать-восемнадцать мечтал о младшей сестре. Ну вот нет у него сестры!.. (Последнюю фразу Кирилл подоткнул в конце, для устойчивости, смешком, похожим на сбивку дыхания, покаянным и недоверчивым.)

И именно сейчас сестра ему необходима. Именно такая, как я. Вот я не мечтала в детстве о старшем брате?..

Он недолго ждал, что я уступлю подсказке, и мое оцепенение перевесило.

Ладно... Простите мне Бога ради этот какой-то бред о сестре... Кирилл положил и секунду удерживал на столе ладони, как на только что захлопнутой крышке, после чего легко, будто оттолкнувшись, встал. Но и я вскочила, то ли поспевая за ним, то ли преграждая ему дорогу.

Мне тогда было двадцать, и уже четыре года, как я знала о некой своей физиологической особенности, подробно в «механику» которой меня не посвящали и которая сказывалась моей свободой от ежемесячной тяготы женского племени. Когда к шестнадцати годам у меня, не отстающей от ровесниц внешне, так и не наступило половое созревание, мать отвела меня к гинекологу. Гинеколог зачем-то направила меня на рентген, а после была ее часовая беседа с матерью в кабинете. Я занимала этот час единственным достойным мыслящего подростка журналом из разложенных на столике в приемной – об экзотике дальних стран, вроде «GEO». Помню даже, что там было много Индии, фотографии уличной жизни Варанаси на разворот, с непременно ступенчатым спуском к Гангу, цветной ветошью и столбами дыма.

В тот же день дома родители сообщили мне только, что менструаций у меня не будет никогда. На положение вещей, преимущества которого били в глаза, я отозвалась миролюбиво-попустительским пожатием плечами. Прошло несколько лет, и отец попросил у меня времени для важного разговора. Так я узнала имя своей «особенности» – синдром Морриса. У меня нет матки и яичников, потому нет и менструаций, потому и не будет детей. На хромосомном уровне я – мужчина. Чем раньше, тем лучше удалить недоразвитые тестикулы, спрятанные у меня внутри и грозящие однажды переродиться в злокачественную опухоль; неотложность операции и подвела к разговору.

Отнятое материнство меня, двадцатилетнюю и еще не влюблявшуюся, не удручало. Предстоящая операция, первая операция в моей жизни, тревожила. Но была ли я раздавлена или, наоборот, захвачена правдой о своей сущности? Своим невидимым, считай умозрительным, как бы отделенным от меня, слишком глубоко загнанным в недра, выбрасывающим меня из меня самой, мужским полом?

Я смотрела на себя точно с широкого конца подозрной трубы. Я старалась проникнуться не трагизмом, так хоть античной трагичностью, фатальностью меня саму предвещавшего сбоя во мне, своей ложностью, кажимостью. Но все это будто, не впитываясь сквозь кожу, скатывалось с меня, оставляя сухой, бесплодно-сухой, не приносящей плода очистительного отчаянья. Одно под видом другого, я была аппликацией, наклеенной на чуждый фон, но чуждость этого фона оставалась для меня вчуже: зная, что другая, я не могла прочувствовать, насколько другая. Мой «химический» пол не отвечал мне, как мазоль на прикосновение, и я не отвечала ему. Поощряемыми мужскими качествами я похвастаться не могла, равно и щегольнуть предосудительными. Не оправдав посулы Интернета, синдром поскупился на «отступные» своих фейных даров. Стать, выносливость, мужество и воля Жанны д'Арк (во второй редакции синдром носит ее имя), обусловленные высоким уровнем тестостерона острый ум и великолепие шевелюры затерялись на почте. Я была не сверхчеловеком, а только минус-женщиной. Я была меньше самой себя.

С удалением зародышей тестикул я лишилась и истинного, исконного пола, я опустела.

На какой-то день после выписки из больницы, лежа в кровати и уже засыпая, я ощутила судорогу, прошившую меня вдоль. Я вспомнила, что лет с десяти до тринадцати тосковала о старшем брате, которого не было. Тлеющий ли сигнал гонад или заурядное детское одиночество, но в каждое событие повседневности я подсеяла брата, через него пропускала, его взглядом и голосом просвещая белесоватый поток.

Тем толчком с той ночи тоска вернулась в меня, но в изменившуюся меня – изменившаяся. Вернулась спокойно-внезапной, как все печальные и спасительные уяснения, мыслью, что я и есть мой собственный брат.

Дюжину лет с той ночи я носила его, не помня о нем. И вот срок истек. «Тайна» Кирилла явилась передо мною dokonченная и раскрытая. А точнее – я перед ним, заключенным во мне все эти годы братом, теперь вышедшим и стоящим напротив, точно лакановское зеркало.

Я мечтала. То есть я мечтаю. Он может не верить мне, но я тоже мечтаю именно о таком брате, как он.

Знак уклончивого скепсиса, грустно-вежливую усмешку, я приняла бы не то что как правомерный, а как почетный, но Кирилл устоял на меня до почти режущей светлоты вокруг черных точек. Он верил и потому не мог поверить. Зависший взгляд стал предпоследней в тот день его репликой, не считая выказанного желания проводить меня до метро.

Над ступеньками оглянувшись на «сталинскую» вереницу, я увидела цвета грунта, цвета пород и подумала о том, что земные цвета должны быть по необходимости и земляными.

– Я позвоню вам, сказала я, но успела разглядеть изнаночное лукавство формулы и тут же поправила: лучше вы позвоните мне. Да, ответил он, и я быстро стала спускаться.

За год до знакомства с Кириллом мне приснился сон.

Я стояла по щиколотку в солнечной вечерней воде лесного озера. Позади, из-за деревьев, донесся младенческий плач. Я пошла на плач, но тем временем плач превратился в смех, как если бы за время моего продвижения чуть в глубь леса для ребенка прошло несколько месяцев и он научился смеяться, а впрочем, не знаю, с какого возраста дети издают звуки радости. Я углублялась в лес и наконец увидела яркий свет, который лился оттуда же, откуда и смех, – из дупла. Там на трухе и прелых листьях лежал примерно годовалый мальчик. Источником сияния был какой-то участок его лица, может быть, на лбу, или этот источник постоянно по лицу перекатывался. Ликующий ребенок потянулся ко мне, и я вынула его. Я шла по тропинке, держа ребенка очень высоко, почти на плече – вероятно, потому, что не умею носить детей, – как Венера, несущая Амура, с картины Нарсиса Диаса, и тут я проснулась.

В воскресенье после церкви я забыла вернуть звук телефону, а когда спохватилась днем, увидела замороженный, от одиннадцати утра, звонок Кирилла. Я тут же вызвала номер, и на мои извинения, а вернее, в обход них Кирилл спросил – как бы перебивая, хотя не перебивал, – бывала ли я у Ферсмана. Даже и негеолог много потеряет, не посети он хоть раз Минералогический музей – к тому же этот находится прямо напротив входа в Нескучный сад. Собственно, мы могли сходить сегодня, но теперь уже поздно: касса закрывается, он узнавал, в пять, да и у меня наверняка планы на вечер. Обвинение в планах на вечер я отклонила, но согласилась, что ноябрьские сумерки – не самое уютное время для прогулок, тем более по Нескучному саду, который поэтому пусть вместе с музеем ждет до утра субботы.

Мне понравилось, что Кирилл употребляет слово «уютный» и не исповедует культ темного времени суток, который для меня был невыигрышной стороной романтизма, но больше всего мне понравилось, что он не спешит любой ценой встретиться. Пусть я предпочла бы увидеть его сегодня, а не заодно с музеем и парком ждать до субботы, но понимала, что этой «братской» несуетностью Кирилл уверяет, упрочивает и возделывает наше *Geschwisterlein*. Упоная на терпеливое превосходство над нами того, чему мы положили начало, веря в независимость его от наших усилий, я попускала себе хотя бы до времени не понимать, что же значит мой статус сестры и что значит он для Кирилла; назвав меня именно такой сестрой, каковая необходима ему, какой он видит меня; какой сестрой я должна быть, чтобы оправдать его ожидания?

Привязывая необходимость во мне, и непросто во мне, а в сестре, к насущному *сейчас*, какой помощи ждал от меня Кирилл? Брось его женщина (вряд ли он располагал на данный

момент подругой, если был готов уделить мне два дня подряд), он испытывал бы необходимость в утешении равновеликом, а если допустить, что он виртуозный лицемер и всех своих «сестер» проводит одним путем, то перенос встречи ему же невыгоден.

Я ощупывала свою необходимость в нем, как слепой, а до его необходимости во мне не могла и дотянуться. Под моими пальцами только болью вскрикивали воспаленные бугры нагноившегося неразделенного чувства. Я знала, каково безнадежно влюбленной, но не каково влюбленной сестре. И если бы еще я воочию видела, что у влюбленной перевес над сестрой или сестра – всего лишь код доступа, чтобы влюбленная проскочила на закрытую территорию, но влюбленность не зачеркивала и не умаляла сестринства.

Будь даже у меня родной брат, разве я лучше понимала бы, что означает названное родство взрослых мужчины и женщины, когда из него отжаты порочная игривость и шкурная прагматика? Суперобложку для дружбы, вываренной в годах взросления до безвредности и бесполезности? Но, вскочив накануне из-за стола, в полный рост представляя своему зеркалу, я отдавала себе отчет, что проскакиваю и между смыкающимися дверьми вагона, который умчит меня по линии наибольшего сопротивления, по еще никем не опробованному, экспериментальному, бесконечному сверхколыцу.

Я не умела дружить и не тяготилась своей замкнутостью. Мне был нужен не друг, но кто-то, кого нельзя выбрать, зато можно, если от рождения не имеешь, найти, кого, как я Кирилла, а он меня, вначале нужно совсем, вчистую не знать – именно для того, чтобы узнавать, возрастая рядом.

Я нашла брата, потому что потеряла мужчину из вагона поезда, мужчину из светло-серого здания. Или мужчину, потерянного прежде, чем я была? Я нашла брата, потеряв того, кого все равно не имела бы, – и после, и благодаря, и по причине потери. Брата, который был нужен мне еще раньше – раньше как в значении «до», так и в значении «уже не». Противоречия снимались в синтезе, как в фильме по сценарию, финал которого прописан, но реплики отданы на откуп актерской импровизации.

Рассудительное откладывание нашей встречи на неделю успокаивало меня не столько как признак искренности Кирилла в его «братстве», которая и без того была налицо. Оно успокаивало, намекая на достаточный запас времени. Нам предстояло взаимно узнавать и взаимно открываться.

Но наш телефонный разговор не закончился согласием о субботе. Удобно ли мне поговорить еще какое-то время? Тогда не могла бы я рассказать подробнее о философии света у Гегеля. Интернет, со светом не церемонясь, навел тень на плетень, но и не звонить же матери за консультацией – это бы ее убило.

Каламбур служил обелению сарказма, но служба вышла дурная: и каламбур, и сарказм были слишком топорными, чтобы второй мог спрятаться за первым. Я сказала, что Интернет можно понять: как таковой отдельной философии света у Гегеля нет. То, что Гегель говорит о свете, становится философией у меня или для меня, когда я соотношу его восприятие со своим. Гегель назвал свет нематериальной материей. Свет сродни духу: и свет, и дух проясняют, делают видимым, разница в том, что свет делает видимым другое, а дух – самого себя. Однако, по-моему, свет тоже делает видимым самого себя, а не только другое. То, что светом привносится – я говорю о солнечном свете, – невозможно объяснить, обосновать, разложить, но оно зримо помимо зримости освещаемых предметов.

То есть свет выше духа, раз ему доступно больше, чему духу?

Эта дикарски неподкупная логика, без малейшего подвоха и вызова, с точки зрения европейской метафизики и бурлескная, и кошунственная, обескуражила меня. Да нет, просто свет ближе к духу, чем того хотелось Гегелю; интуиция не подвела скорее Псевдо-Дионисия и его последователей в XII веке.

А почему он *псевдо*? Впрочем, нет – лучше продолжайте про свет.

Свет показывает, что красота не держится ни на чем. Он показывает это тем, что сам и есть эта красота, которая не обусловлена чем-либо материальным: формой, цветом предметов, на которые он проливается, их совершенством самих по себе. Ты смотришь, например, в перспективу улицы, куда угодно... и только рама кадрирующего взгляда полагает границы совершенству, носитель которого внутри этой рамы ты не можешь выделить. В тварном мире ничто не обладает красотой. И везде красота может быть явлена. Потому что физической, природной красоты вообще нет, красота духовна. В тварном мире ничто не обладает красотой, и она ничем в нем не владеет. Вот об этом свидетельствует свет. У света, хотя он и сотворен, ничего здесь нет, как и у духа. И здесь он всегда у себя – как и дух. А вообще-то мне трудно рассуждать о том, что в данный момент не перед глазами, иначе это уже разглагольствование, а не песня. Я собиралась сказать «не хвала», но окоротила себя.

Второй раз за наш разговор Кирилл вступил так, будто, выслушав до конца, перебивает. Он очень хочет, чтобы я увидела минералы, мне непременно нужно их увидеть. Это переубедит меня относительно того, что красота не держится ни на чем, что в тварном мире нет ничего, обладающего красотой. Царство минералов, сокровищница земли, там подлинная красота совершенного в самом себе творения, которую солнечный свет, конечно, раскрывает, но дарует не он.

А самоцветы?..

Вот уж кому, а им точно не нужен естественный, солнечный свет, недаром Кирилла они покорили сквозь музейную витрину дважды – в Оружейной палате и затем у Ферсмана, и, кстати, эта вторая встреча, теперь с первозданным, нешлифованным и тем более неограниченным камнем показала, насколько вообще спровоцированная ювелирным искусством игра бликов безвкусна и бессильна против природной красоты. Впрочем, теперь Кирилл и по себе понял, что слова выхолащивают самое дорогое, когда не видишь его непосредственно. А ведь он не был в музее Ферсмана со студенческих лет, он будет всю неделю ждать этого праздника, как ему уже сейчас не терпится, скорей бы суббота. Тем не менее, если ему захочется поговорить *о чем-нибудь стоящем*, может ли он на неделе позвонить?

Я снизошла к его просьбе, а закончила тем, что и для меня вся неделя пройдет под знаком будущей субботы, ожидаемого переубеждения.

В чем я буду переубеждена? Что всякой плотной вещественности нужно зажечься извне, чтобы ее красота состоялась? И взамен убеждена в чем? В том, что если солнечный свет есть тело красоты, то лишь над поверхностью Земли, а ниже Земля справляется без него? Что красота – свойство предмета, пребывающее неотъемлемо, неизменно и независимо от переменчивых внешних условий вроде компоновки света и тени? Что однажды сотворенное уже несет в себе всю полноту качеств?.. Наконец, что подлинной красотой наделены только минералы, во веки веков, аминь.

Но не Кириллу ли с его естественно-научным образованием пристало знать, что плотная на глаз вещественность иллюзорна, что фотоны такие же материальные частицы, как любые другие, а чувственно осязаемая плоть так же бесплотна по существу, как луч на вид. Разногласие видимости и сущности, а лучше сказать, наружного и внутреннего – как мой мужской генотип при женском фенотипе. Ведь имеем мы перед собой то, о чем разглагольствуем, или нет, все равно наша болтовня елозит по плоскости, в лучшем случае попутно стирая пыль, но это стекло закрашено с обратной стороны.

Пятнадцать – двадцать лет назад музыка не имела для меня такого жизнеподдерживающего значения, как для большинства моих сверстников, но издали мне импонировал косолапый напор «металла», перегоняющий силу в громкость, кромсающий ее наивно-толстыми ломтями, чтобы оделить детей, женщин и просто слабаков. И я, когда мне перепадала порция,

чувствовала подобие электрического зуда в мышцах и собственной власти над собой, не нуждающейся, дружески-мягкой и дружески-крепкой.

Группа «Konrad», уже лет пятнадцать не существующая, удивила безропотностью и обликом, с которыми представлял ее Интернет. Но втройне удивительна черная подводка глаз, черный лак ногтей и, главное, замазанное тональным карандашом, но и сквозь грим себя выдающее пятно. Многажды воспроизводились несколько однообразных афишных фотографий, безыскусно-исчерпывающих, как учебная иллюстрация. Стоя, в согласии со званием фронтмена, чуть на переднем плане и строго по центру, молодой, статуарно красивый, весь темно-светлый – мучнистое от грима лицо, незагорелые подкачанные руки, черная одежда, жирно темнеющие из-за бриолина волосы – Кирилл смотрел, как полагается, прямо и немного исподлобья. Кольца еще не было, его замещали четыре перстня, по два на каждой руке.

Видео концертных выступлений в Сети не было, а скорее, их не было вовсе. Я скачала единственный альбом и прослушала от начала до конца. Альбом назывался «Что остается», и двоякость толкования казалась в этом обществе лобовой и ломовой прямизны чем-то рафинированным. На обложке, восприняв слегка пластилиновую фактуру и буровато-лягушачий глянец компьютерной графики двадцатилетней давности, корбились в куче ржавые не то броневики, не то танки, под искрасна-фиолетовыми, какими они бывают от фейерверков, но не от залпов орудий и не от грозы, небесами.

Автором музыки значился уже известный мне Иван, текстов – один из троих, изучавших сталь и сплавы. Непричастность Кирилла к самому сердцу творчества и огорчила, и тронула меня, но она же свела на нет мой интерес к словам. Тексты напоминали пышущую здоровой шизофренией лирику неглупого и равнодушного к поэзии старшеклассника, впрочем, почему напоминали, если, скорее всего, ею и были. В них не упоминались ни рудники, ни копи, ни сталь, ни золото, ни уголь, ни шахты, ни пещеры горного короля, ни вырывающиеся с корнями буйством Рюбецала на вершинах ветром сосны. В них, как и положено ему, стариковски куксился бестелесный юношеский бунт. Температура их была комнатной, за именами стояли понятия, а не вещи, и слово «кровь» не встречалось даже как абстракция. Сколь бы мизантропически ни резонерствовали стихи, сколь бы гностически ни мертвили хамскую материю, если в них проникло слово «кровь», дело сделано – они уже не могут сопротивляться жизни. Кровь сопологаема с жестокостью и страданием, но никогда со смертью.

Если инструментальное грохотанье с гоном перкуSSIONной отбивки и зубовым скрежетом синтезатора было мертвой водой, в хлесте которой слова кувыркались и захлебывались, перед которой тление отступало, то живой водой был голос Кирилла, несильный чистый баритон, пусть и обзанный электронике медной гулкостью, – на него возвращалась душа. Голос выдыхал и выплевывал кровавой жар человеческого в ледяной вихрь обстоятельств, внутри которого тело, зерно тепла, стегалось, секлось и жглось, как вокал внутри музыки. Льдистое крошево забивало рот и ноздри, наждаком шлифовало кожу, и сиянием кожи поглощалось его сверканье. Неменя от стужи, тело не остывало. У любви мог отняться язык, любовь могла разучиться своему языку, но, разучившись себе, забывая, не узнавая и отвергая себя, тем яростнее в этом самоуничтожении себе и служила. Исполняя свою мистерию, Кирилл с командой будто исполняли волю той, что скована собственной тяжестью и нелюбящей властью, а потому призывает власть любящую и любовь властную, – волю земли. Магма гудела в багряной мантии, металлоносный панцирь резонировал шуму крови. И там, в толще коры и под нею, тоже не было ничего нечеловеческого, ибо ничего не было, человеком созданного, там не было его руки, приносящей студеной, умерщвленный металл машин в родильный рудный сад. Не могло быть ничего человеческого в утробе Земли, в очаге человеческого дома. В этом неорганическом нутре была жизнь, а в организме на поверхности – смерть, жизнь в делах земли, смерть в человеческих. О смертности, смертельности нечеловеческого в делах человека была игра, о жизни человеческого в делах земли – пение.

Все это я торопилась выложить перед Кириллом, когда сама, наперерез, позвонила ему в среду вечером, сочтя то, чему он шесть лет отдавал себя, *стоящей* темой. Нет, выложить все это ему я не могла уже потому, что тогда, в ту неделю, этих слов у меня еще не было. Я хотела спросить, что отмерило шестилетний срок; не пытался ли Кирилл сочинять тексты, по крайней мере, как-то участвовать в их написании – но нет, этот вопрос, этого непоседливого ребенка, надо было, поборов в себе безответственную мягкотелость, удержать, ибо ущерб от него достоинству Кирилла был непредвидим. Имел ли Кирилл решающее слово лидера в коллективе, ему почти тезоименитом? Смирился ли перед большей стихотворной талантливостью, если вообще большей, а не противостоящей нулю с его стороны? Но вопросы остались при мне, во мне, до лучшей поры.

Я послушала альбом?! Интонация была та же, с которой он ровно неделю назад признал свое непонимание причины моего ложно-делового звонка, – она была непонимающая. Зачем мне его суперменские потуги, если ему самому они настолько незачем, что он, будь то возможно, променял бы эти годы на годы нормальной профессиональной деятельности. Но где для него суперменские потуги, там для меня, во-первых, музыка, а во-вторых, то, что, пусть полжизни назад, было ему дорого.

Дóроги – *в тварном мире* и после нескольких людей – ему всегда были только камни.

Как если бы вместо того, чтобы вручить подарок, Кирилл в меня им выстрелил. На внимательность к моим словам, во зло примененную, пришлась основная выработка боли, а поскольку боль тем самолюбивее и мстительнее, чем внезапнее, то я, благо сбереженные слова Кирилла вспомнились кстати, не замедлила отдарить.

А металлы?.. Ведь в геологию его привела мечта не о мужском бродяжном братстве, но о камнях и *металлах*, драгоценных прежде всего, однако последние почему-то, раз названные, исчезли со сцены. Между тем, питай он безразличие к металлам, в дипломе у него вряд ли возникла бы та запись, которая возникла, – одного попечения о будущем молодой семьи мало, чтобы отвернуться от единственно дорогого.

Раскаянье и страх ссоры подействовали сразу, не успела я договорить, как наркоз, впрыснутый мне по пути в операционную, только наркоз наоборот.

Да, действительно, я права. Золото. Странно, что он упустил. Золото.

Кирилл произнес это слово дважды, прежде чем, вновь запоздало перебив, но теперь себя самого, перенес нас в субботу. Поскольку в поисках музея, примыкающего с тыла к тылам жилых домов, я могу заплутать, да и все равно от метро пара остановок наземным транспортом, Кирилл предложил встретиться опять на платформе станции, теперь «Октябрьской»-кольцевой.

Автобус подъехал сразу, как мы вышли из метро, и все десять минут поездки мы не разговаривали. Я молчала потому, что молчал Кирилл, щурясь в суетливой сосредоточенности, и то глядя вниз, то за окно, то оборачиваясь на других пассажиров, но всегда минуя меня, будто путь до цели нельзя было засчитывать и использовать. Расчет времени оправдал скрупулезность Кирилла, чем тот был скорее весело доволен, чем горд: у музея мы оказались точно к открытию. Под темно-синей паркой, которую Кирилл снял в гардеробе, был белый джемпер с треугольным вырезом, надетый поверх рубашки персикового цвета, что, над черными кожаными брюками, как бы отчитывалось по пиршественной нарядности. Скорее весело-нервно, чем нервно-весело Кирилл отметил, что здесь все, ну, точь-в-точь, как двадцать лет назад, и призвал меня не пренебрегать самой обстановкой, законсервированной если не со времен основания, то со времен его детства, самым длинным, единственным залом бывшего усадебного манежа. Призыв был излишен, но я попробовала, не подыгрывая напоказ, сыграть в эту игру с собою. И вот, принявшись от моего глубокого вдоха, задышала школьница, которую ампирная роспись гризайлью на потолке, золоченые люстры, огромные вытянутые окна с полукружиями и лепные венки между ними, подпираемый ионическими колоннами заглублинный

помост в торце, деревянные витрины, ковровая дорожка, бидермайерскими дворянско-усадебными розами защищающая Boden, пол и почву от попания и презрения после буквально верховенствующей патетики, – все это уже не тешило и умиляло, как меня, но вырывало из прежнего и готовило к неизвестному.

В вестибюле, откуда мы по нескольким ступеням сошли в зал, Кирилл оставил и парадно-вступительную веселость. Свое волнение он опять, как и по дороге сюда, не мог разбазаривать. Кирилл не позабыл обо мне, не остался наедине с образцами (назвать их экспонатами казалось не то чтобы нечестием, но анахронизмом, словно я относил этот специальный термин в его роботоподобной молодости ко дню сотворения суши, как будто глубь земной коры была и глубиной времени). Скорее он, наоборот, не отпускал меня и, комментируя то, на что я смотрю, как будто направлял мой взгляд туда, куда его взгляд поспел секундой ранее. Он не смотрел на меня, но как бы подталкивал мое зрение. Не тащил меня за собой, а был сзади и чуть сбоку, благо загородить ему зрелище я не могла, и я, не чувствуя никакого давления, ощущала напряженность его водительства.

Я не спрашивала, хотя это воздержание трудно давалось, есть ли у него любимцы, подзревая свой вопрос в оскорбительности, не для Кирилла, разумеется, а для предмета: ведь выбор как раз уравнивал, разравнивал множество до однородной массы, примысливал ему изначальное безличие, которое произволом, выхватывающим что-то одно, якобы и снималось. Да и Кирилла должно было покоробить такое холодно-ленивое замазывание пестроты и дробности, чтобы нанести поверх пару-другую штрихов. Но, когда мы приближались к последним неосмотренным витринам, Кирилл вдруг сам спросил, понравился ли мне какой-нибудь минерал особенно. Кварц, ответила я наобум, не запасшись своим ответом на свой же вопрос. Кварц в чистом виде – или какая-нибудь из его полудрагоценных разновидностей, например розовый кварц, горный хрусталь, аметист или гелиотроп? Пожалуй, чистый кварц или горный хрусталь, как ближайший к нему. Что ж, Кирилл меня понимает, однако у него кварц все-таки на втором месте, а на первом – пирит. Почему? Мы нагнулись к стеклу, и Кирилл сказал с улыбкой, которую я слышала, не увидев, потому что смотрела на вышколенные, выточенные из блеска, а потому не блестящие, но железно, изжелта-лоснящиеся кубики словно бы наименее земного, хотя и чуть ли не самого затрапезно-земного питомца коры: если честно, не знаю сам; но теперь знала я: подражением золоту.

Кирилл рассказывал о разновидностях пород, о процессах генезиса, о том, что минеральные индивиды, как и человеческие, могут объединяться в сообщества – агрегаты, агрегаты же – сгущаться в минеральные тела; какие из них склонны к псевдоморфозе, что цвет кристалла зависит от преобладающего элемента и примесей, а текстура, которую мы воспринимаем как форму, – от примесей и от условий протекания роста. Он сообщал о редкости или распространенности минерала и какие свойства его в какой отрасли использует человек, но чаще становился голосом моих глаз: посмотрите, какая красота, какое чудо, какое совершенство. «Красота», «чудо», «совершенство» он произносил, не вознося и не заглубляя тон, без малейшей экзальтации и мечтательной раздумчивости. Вспоминая потом, я поражаюсь, какую точность в подборе слов способно дать видение. Кирилл ни разу не назвал то, о чем говорил, *прекрасным*, и вообще, как мне припоминалось, обходился без оценочных прилагательных, только этими тремя субстантивами, не признающими степеней и градаций. Кирилл не описывал, а называл, и значило это, что он не смотрит, то есть не любит (потому и внутрь обращенной, одобрительной улыбки любующегося своим достоянием демонстратора я не застала ни разу), а видит.

И я видела, а не любовалась. Ребристые, игольчатые, губчатые, комковатые текстуры, тонущее в собственном искрении зерно на разломе, ровная гладь как она есть для стереометрии – плоть абстракции, шероховатость как она есть для осязающей руки, стремящейся от шершавого к гладкому и от гладкого обратно к шершавому, родному человеческой ткани... Впервые видела *совершенство материи*, совершенство, принадлежащее этому определенному,

ограниченному ее стустку. Чудо в установленных раз и навсегда параметрах и пространственных характеристиках. Каждый кристалл был совершенен. Совершенство каждого было создано специально и только для него. Я видела совершенные в себе вещи, совершенство которых имело пределы, поскольку их имеет любая вещь.

Опровергало ли это меня, мог ли Кирилл торжествовать переубеждение? Ни капли. Я видела совершенство и чудо. Но не красоту.

С первого же образца в первой же витрине я начала готовиться к отчету, который потребует с меня Кирилл, когда окончится наше путешествие по царству минералов: ну как, переубедил? И к возвращению мне уже было что развернуть перед ним, чтобы, не выказав безнадежной в косности и слепоте, отстоять себя, чтобы справедливо почтить чужое, не предать своего. В вестибюле, пока гардеробщица несла нам верхнюю одежду, а потом, пока мы одевались, я на изготовке *держала ответ*, держала его, как плывущий держит во рту то, что понадобится на другом берегу, но оно осталось без надобности. Кирилл так ни о чем меня и не спросил, вероятно, считая, что уже стал очевидцем моей перестройки и сдачи. Теперь, наконец, собрав увиденное в себя, он желал остаться с ним наедине и не поинтересовался, а поделился, но как бы через порог, не привечая меня: у него такое чувство, будто двадцать лет все это пребывало без хозяйского глаза.

Вечер только занимался, но мы оба, без слов, дали друг другу понять, что слишком устали для Нескучного сада. Мы вышли на проспект мимо Александрийского дворца, принадлежащего Президиуму Академии наук, и мне вспомнилась та, чьего сына я, казалось мне, ступая с ним бок о бок и не соприкасаясь, подпираю, как сестра милосердия раненого по пути в лазарет.

Я пыталась почувствовать, что, шагая рядом, несет этот человек на закорках в добротном перевязанном тюке усталости. Какими он уносит свои кристаллы и куски пород – благостно-невесомыми или вдвое потяжелевшими, разрешением или осуждением. Я билась, лучше или хуже теперь ему, посетившему свое хозяйство после двадцатилетней отлучки, прощена ли хозяину измена, восстановлен ли мир. И если нет, то какова доля моей вины в том, что через эту трехстороннюю встречу вина одной из сторон лишь усугубилась. И мне казалось, что нас, бьющихся, двое: я и его мать, посредником которой я все-таки становлюсь.

Я хотела сказать Кириллу о земле и о свете: то, что не принадлежит никому, отнимет у тебя только смерть. Но до самой «Октябрьской», где мы простились, я не нарушила его молчания, как не нарушали молчания редкие и вязко-пустые реплики самого Кирилла, которыми он обозначал себя рядом.

Кирилл позвонил в воскресенье. Не исключено, что цикл «встреча – звонок» он закреплял сознательно: я уже разбирала отдельные строчки его натуры, в том числе стремление структурировать все, что мало-мальски этому поддается.

Накануне вечером, придя домой, он думал о нас. А сегодня утром, как часто бывает, раступилось то, что загораживало искомую суть. Он хочет, чтобы я понимала: он всерьез говорил о сестре. Он убежден, что родство по выбору не только допустимо, но это благословил Христос, неоднократно указывая в Евангелиях на возможность родства не по плоти, например, когда пообещал каждому, кто оставит мать, отца и прочих родственников, во сто крат раз больше новых и когда назвал Своими матерью и братьями Своих учеников. И вообще, негативное отношение Христа к кровным узам общеизвестно. Рассчитанная практичная простота этой экзегетики меня удивила, и я сказала, что у креста Христос соединил в семью Свою Мать по плоти и другую «мать», ученика, тем самым примирив кровное и духовное.

Я опознала подошедший момент и не струсила.

«Вы поссорились с матерью?»

«А мы и не были в мире!»

Ядовитый задор и готовность, словно ответ только и ждал, когда его пустят в ход, отрезали путь любой моей, еще не сложенной реплике, но это был не обратный пас, к которому свелся ответ, а броский заголовок ответа.

...Мать, как он уже говорил, зав. сектором в Институте философии РАН, доктор наук. Занимается проблемой искусственного интеллекта и постгуманизма. Докторская ее, которую она защитила в восьмидесятых, посвящена, впрочем, марксистскому гуманизму. Мать не может примириться с тем, что Кирилл не пошел в науку, что столько лет отдал рок-музыке и при этом не поднялся выше, как она считает, любительства. Что у него нет ученой степени. Нет детей. Что он крестился, наконец, – тому уже двенадцать лет, а это по сей день «незаживающая рана». Как и в целом его жизненный провал по всем перечисленным пунктам.

Я подумала о том, что мои родители не пеняют мне на *мой* провал, и, хотя этой мыслью обличила свое наиотчетливейшее понимание сути провала, спросила, в чем же он.

Например, что Кирилл не завел семьи. Мать сватала ему свою аспирантку, чуть не сломала жизнь этой девушке, впрочем, там заведомо ничего серьезного не получилось бы, Кирилл имел в виду не ее. Он дружил с одной девочкой в геологическом кружке, и спустя много лет они столкнулись на улице. У нее были муж, дочь. В какой-то момент она переехала к Кириллу; муж не давал развода, по крайней мере, так говорила она; Кирилл не возражал, чтобы с ними жила ее дочь, но девочку забрала свекровь, которая, естественно, приняла сторону сына и даже видеться не позволяла – ситуация мучительная для женщины и для того, кому эта женщина небезразлична. Долго так продолжаться не могло, он имеет в виду совместную жизнь, и тем не менее год они прожили вместе, а там ее муж попал в какой-то финансовый переплет, ему даже грозила тюрьма...

И она вернулась к мужу?

Да. Все друг перед другом покались. Семья воссоединилась.

Две эти фразы, предуготовленные для сарказма и без него, казалось бы, нежизнеспособные, не содержали в себе ни грана его. Кирилл словно выдернул из них жала или выдавил зараннее едкий прогорклый сок. Они были чисты почти до невразумительности, и от печали и вздыхания, и от стоической лицемерной прохладцы. В них еще перекачивалась какая-то капля спокойствия, чуть окрашивая самое донышко, но это и было все «личное», не то последнее, не то изначально единственное.

Преломившимся в этой прозрачности лучом попало бы и все «личное» моего вопроса – как давно произошло воссоединение, – но Кирилл уже спешил после интермедии о себе к рассказу о матери.

Сама же мать никогда не была замужем. В тридцать пять, только что защитив кандидатскую, рассудила, что, если хочет ребенка, надо решить этот вопрос прежде, чем сядет за докторскую, когда будет уже не до того, – и заполучила ребенка (я чуть не подсказала: по-немецки *bekommen*, иначе и не скажешь). Никто ее не поддерживал; если б она, допустим, забеременела от женатого и отказалась делать аборт, это бы еще поняли, но заводить ребенка без мужа целенаправленно казалось безумием – что говорить, годы самые «застойные» во всех отношениях.

И ведь как раз на те же годы в капстранах пришлось становление феминизма.

Ну так мать с юности истая феминистка: она ведь из-под Владимира; в колхозной читальне чудом пережил все разгромы какой-то остаток библиотеки, конфискованной у владельцев ближней, опустошенной, дворянской усадьбы, и мать читала, например, Аристотеля... Она, можно сказать, шагнула из своей семьи и своей среды в никуда. Она словно всю жизнь и оставалась нигде, в каком-то вакууме. Даже ее родители не знали, кто отец Кирилла. Когда Кирилл лет в десять спросил ее, она пообещала, что в свое время расскажет, и выполнила обещание накануне его совершеннолетия – четко. Кирилл несколько раз в детстве видел этого человека и как будто чувствовал с его стороны какую-то особую симпатию или даже нежность. Он был безнадежно влюблен в мать, хотел жениться на ней, когда та ждала ребенка, но встре-

тил отказ. В семнадцать лет Кирилл возмущался тем, как мать поступила с этим человеком, используя его, да и со своим сыном, лишив его отца, но позже понял ее. Возможно, единственная положительная черта матери – ее неизменная стопроцентная честность с собой и другими.

А стопроцентная честность – черта всегда положительная?

Всегда. Даже и тем более положительная, когда требует быть жестоким. Но того же требует и справедливость. К честности надо иметь призвание, нет, для нее нужны психофизические задатки, как для хирургии. Да, честность – это как хирургия. Однажды становится ясно, что ромашковый отвар не поможет, и тогда ложатся на хирургический стол. Да, честность – это та же хирургия, она спасает, когда уповать больше не на что.

Разве, когда уповать больше не на что, спасает не милосердие, милость, любовь?

Каким бы ходульным паролем для узнавания христианина христианином, в котором мы уже не нуждались, ни было каждое из трех слов, нанизанные одно за другим, они будто не выдержали собственного избытка, расплескали розовую жидкость и, как прежде те две фразы Кирилла, опустели, очистились. Это услышала я, и это услышал Кирилл, выдвинув навстречу верности опровержения утяжеленную, оборонительную уверенность взятого тона.

В больших масштабах – безусловно, но не в частных жизненных ситуациях, и мать поступила правильно, не выйдя за нелюбимого человека.

То была уверенность самосбывающейся правоты, тон словно заверял правоту поступка, но и сам Кирилл верил своей уверенности, не столько разоружая, сколько умиряя меня, только теперь, как бы снаружи, увидевшую, что секундой назад боролась, и не от имени постулатов, а за себя, а значит, совесть не то что позволяла – приказывала мне сдаться. Да, пожалуй, правоту, стоящую за поступком его матери, не оспоришь. Нет любви выше жертвенной, но Господь же говорит: «Милости хочу, а не жертвы».

Вот-вот – Кирилл словно или впрямь выдохнув, точно я отодвинула его, уже начавшего изнемогать, от штурвала и привела нас в бухту консенсуса; Евангелие вообще полно таких противоречий, и каждое на своем месте.

Эта, уже вторая паролевая банальность ублаготворила нас, а для меня к тому же смазанный финал окупался довольством своей быстротой на цитаты. Правда, я еще могла ухватиться за то, что Христос цитирует пророка Осию, и источник противоречия в данном случае – разница этик новозаветной и ветхозаветной, но побоялась отвратить Кирилла въедливостью «на лестничной клетке».

Однако на той же лестничной клетке стоял и Кирилл, словно мы с ним вышли за порог плотно меблированной квартиры, только чтобы продолжить в пространстве более гулком.

Если бы эта стопроцентная честность передалась ему хоть вполовину, он сказал бы матери, что не любит ее и никогда и не любил, хотя уважает сейчас, когда они почти не общаются, больше, чем когда-либо.

Может, это как раз и свидетельствует о том, что честность – все-таки не последнее?

Скорее о том, что он пошел в отца.

Шутливостью, которая тем удобна как сигнал отбоя, что не оседает на дно, подобно (само) иронии, а бесстрастно улетучивается, Кирилл подвел черту.

И я не возражала, поскольку лишь за финальной чертой могла сказать со стопроцентной честностью – себе ли, Кириллу – то, что он знал и что Бог весть зачем и Бог весть откуда знала и я: что мать пыталась его полюбить, призвав на помощь всю мощь марксистского гуманизма, и наконец нашла спасение от своего бессилия в постгуманистической доброй ссоре; впрочем, мне ли судить о материнской любви?

Но если сейчас мать вызывает у Кирилла уважение больше, чем когда-либо, не значит ли это, что он согласен с нею считать свою жизнь провальной. И если и впрямь страх приходит от тех пределов, где царит безнадежный минус, то у меня не *похолодало внутри*, а я словно

поймала себя на том, что мой взгляд уже давно впере́н даже не в глыбу льда, а в смерзшийся ком песка и глины.

Но я более чем не имела права этот провал признать, то есть допустить, – я должна была предотвратить его задним числом. Не потому, что, признавая провал за Кириллом, признавала провал, таким образом, и за собой, не остепенившейся и не остепененной; бездетной. Пусть оба они, Кирилл и его мать, видят этот провал, бесперспективный, нерентабельный рудник, даже не вычерпанный, а впустую, в пустоту вырытый, – я видела гору. Я видела ее потому, что не могла не видеть, и обязана была видеть, чтобы предотвратить провал. И с вершины, а не из провала, меня холодило страхом; там, наверху, мерзлые кремниевые комья укрывал снег, а взгляд мой принадлежал не им, а ему.

Мы снова увиделись спустя месяц после похода в музей. За месяц устоялся порядок, никем не предложенный, но как бы себя навязавший, так что мне и, подозреваю, Кириллу казался результатом договоренности: в субботу или воскресенье всегда звонил он, на неделе – один раз он и один раз я. В выходной мы обычно разговаривали дольше, чем в будний день, но не потому, что располагали избытком времени, а потому, вероятно, что субботний или воскресный телефонный разговор заменял встречу.

Мы говорили о том, о чем кто-то из нас в этот день подумал; отправляясь от этой, всегда безличной темы, мы, случалось, попутно рассказывали эпизод из своего прошлого, даже из детства. Христианство, как преднайденная общая почва, так и сохраняло ведущее положение среди тем, но понемногу мы наращивали круги, мы лепили берег. Нас не соблазняла подмога дежурно-анкетных вопросов о любимых книгах, фильмах, художниках и т. п., но поскольку мы так или иначе говорили о человеке, каждый на своем примере, и так, сохраняя презумпцию отвлеченности, могли говорить о себе, то искусство и литература как-то между прочим – правда, почти всегда с моей стороны – замешивались в разговор, но они же уподобляли его продвижению по щербатым мосткам. Будь Кирилл только мало начитан, мне было бы проще, но он был начитан избирательно, его эрудиция зияла прорехами безо всякой системы; или наоборот: где думалось километрами не видеть суши, там паче чаянья снизывался из островков целый архипелаг. Упоминая какое-либо имя, событие, понятие и исходя, согласно крошеву своих знаний о нем и своего знания людей, то из осведомленности Кирилла, то из его беспомощности, я, точно в сказке про вершки и корешки, просчитывалась. Так, апеллируя к Тейяру де Шардену в одном случае и к Якову Бёме в другом, на первого я сослалась без имени, и его Кирилл назвал, как бы дополняя, прежде, чем я закончила фразу, со вторым, не утаенным, я ударились о стену из сгущенного воздуха. По читанному Кириллом можно было идти со списком и проставлять галочки либо прочерки. Бердяев и Булгаков, но не Флоренский и Соловьев; за всю, помимо школьной программы, русскую классику, включая Достоевского и православным показанного Лескова, представлял Тургенев (вот так бомба!), однако без крупных романов; за весь европейский романтизм – Клейст, минуя Гофмана (опять же бомба); за всю мировую литературу до романтизма – Данте с «Комедией» и «Новой жизнью», без Шекспира и Гёте; Кьеркегор в отсутствие Ницше (бомба, бомба...); у Гессе – только «Степной волк» (мною как раз не читанный), зато «Волшебная гора» и даже «Доктор Фаустус» его соотечественника, впрочем, читавшиеся давно и, по словам Кирилла, забытые напрочь. Еще прихотливее был укомплектован багаж знакомого понаслышке, вернее, прихотливы были лакуны этого багажа, вроде платонизма, неоплатонизма и идеализма, при том что Кирилл читал «Исповедь» блаженного Августина; зато наличествовал Федоров; Тиллих и Бонхёффер известны были, а Симона Вейль – нет. Познания-привязанности Кирилла в изобразительном искусстве напоминали арктическую пустыню, над которой колыхалось северное сияние почему-то Тёрнера (Блэйк не нравился, о прерафаэлитам не слыхал), Рембрандта и Караваджо (Дюрера мало видел и равнодушен). В архитектуре «золото» было отдано романскому стилю, готическому же «серебро» (ни одного

памятника обоим назвать не мог), все дальнейшее делило «бронзовый» пьедестал – до стиля «модерн», отношение к которому было активное и активно-неприятное, с эпитетом «тошнотворный». Над Арктикой академической музыки простиралась ничем не озаряемая полярная ночь.

Кирилл никогда не лавировал, запутывая следы и уводя от очередной ямы, но и напрямую, как о Суггерии в первую нашу встречу, больше не спрашивал, и только по скачку обычного ровного напряжения, точно полость по глухому звуку, я распознавала пробел. Оговорюсь, что это многофигурное панно во всех подробностях проступило не за месяц разговоров между двумя встречами – месяца бы ему не хватило, а за то время, что мы с Кириллом друг друга знаем.

Кто направлял его, чьи интересы и вкусы на него повлияли? Кто прочертил для него эти зигзаги – неужели мать? Скорее он, будучи предоставлен себе, хватал, что подсовывал случай, а искать самому не доставало привития книжечейства от старших, но и витальной, душевной энергии, центробежной (тогда как духовная центростремительна), устремленной вовне и прославляемой под псевдонимами «интеллектуального любопытства», «потребности саморазвития», «жажды знаний», наконец. Но поскольку мне и самой ее было отмерено мало и мои познания были тучны для документоведа, однако едва ли для того раскинувшегося, подобно кедру ливанскому, гуманитария, в которые я когда-то метила, то терры инкогнито и табулы расы Кирилла не внушали мне негодования или высокомерия.

Зато, когда опыт не требовал подпорки и эти подпорки не замешивались палками в колесах, разговор словно катился впереди нас, и мы не управляли им, но были им направляемы, как если бы кто-то не то что расчищал, а прокладывал нам дорогу на несколько шагов вперед. Мы не переходили на «ты», потому что наше сближение опережало нас, и, чтобы пометить его формальным значком, пришлось бы создать заминку, но, слава Богу, ни мне, ни Кириллу это не приходило в голову.

Однажды он спросил меня, вновь, после музея, повернув ко мне вопрос, который я слишком долго собиралась задать ему: как произошло мое обращение?

Что я могла ответить?.. Что обращения не было и потому я немного завидую ему, как и всем, у кого оно было. Только через обращение можно стать христианином – а точнее, христианином можно только *стать*, не быв, обратившись на 180° от прежнего, прошлого, ветхого. Христианин должен иметь прошлое, он может быть только блудным сыном, только взрослым. Поэтому воспитать в христианской вере – это воспитать в немного другой вере, близкой, но чуть другой. Сказать, что меня воспитывали в православии, будет преувеличением, да и попросту ложью, но о Боге я узнала, видимо, очень рано, поскольку не помню, что когда-либо не знала о Нем. Когда я была ребенком, мои родители не собирались воцерковляться. Меня не водили в храм, со мной не говорили о Боге. Полузнание заставляло меня додумывать, искать. Бог не был «домашним», близким, и Он был для меня тем более личным, чем более на расстоянии. Он интересовал, беспокоил Своей непонятностью, и так же был непонятен позднее Сын Божий, и мне казалось порой, что непонимание – единственный способ любви для меня. Именно *способ*, а не условие. Я не то, чего не понимаю, только и люблю, а я способна любить только непониманием.

Но ведь это и значит обращение, просто не однократное, а постоянное. Ищите лица Моего, и я буду искать лица Твоего, Господи.

Даже если такова и была задача Кирилла – сострадательно обнадежить меня, он меня действительно обнадежил.

Что до него, то его обращение вовсе не было обращением раскаявшегося грешника или чудесно прозревшего, подобным удару молнии, и не вызревало оно трудно, но неуклонно; не предшествовали ему и броски за насущной духовной пищей в разного рода этномистику. Возможно, когда-нибудь он расскажет, почему именно Христос, но не сейчас, не по телефону,

впрочем, телефон здесь ни при чем. Просто однажды он понял, что если так и не научился к двадцати восьми годам вслед за умными и тонкими людьми видеть бессмысленность мироздания, даже ту тщету жизни, как бы сказать, травоядную, о которой у Екклесиаста, еще тогда не прочитанного; если находит именно бессмысленным охватывать «мироздание» или «жизнь» взглядом с высоты птичьего полета и оценивать, при том, что прерогатива такого взгляда сверху должна кому-то принадлежать, поскольку мироздание, безусловно, существует как целое и жизнь – как целое, то это означает не просто «Бог есть», это означает веру. Он обратился, когда понял, почему всегда знал то, что знал.

Что нет ничего бессмысленного, потому что из этой точки, где я, смысл не виден?

Да. Пожалуй. Именно так. Тот, кто отрицает смысл, или, что то же самое, бытие Бога, по сути, просто отделяет Его бытие от своего, противопоставляет себя Ему, как бы смотрит на Него с большого расстояния. Мать как-то заявила, что Бог – это фигура гипостазирования, на что Кирилл сказал, что скорее уж атеист гипостазировал безблагодатность и называет ее отсутствием Бога. (Опять же, не владел ли Кирилл философским словарем лучше, чем хотел показать?) Но знать о смысле мало. Поэтому он так долго тянул, как многим, включая священников, казалось, с крещением, а на самом деле не тянул, а тянулся. Десять лет понадобилось, чтобы дотянуться хотя бы до подножья.

Прийти к подножию, откуда можно начинать подъем...

Он имел в виду подножие Креста, но пусть будет и так.

Кроме прочего (кроме чего – ведь как именно он тянулся к подножию, Кирилл не раскрыл), слишком многое долго не давалось его разумению. Так, он долго не понимал, что значит искать правду Царства Божьего, то есть ему было понятно, что это значило для иудея I века н. э., чаявшего воцарения Мессии и восстановления Израиля, но он не понимал, как и какую правду следует искать ему, живущему в России XXI века; проще говоря, до какого-то момента не понимал главного – что есть Царство Божье и чего он ждет от прихода Царства.

Я не решилась подтолкнуть его дальше односложным вопросом, вовремя пресекла этот инерционный шажок, который вывел бы нас с Кириллом за черту *нас*. Кирилл, и так достигший пограничья, остановился, будучи, вероятно, убежден, что мне ничего объяснять не надо.

В первый после музея разговор я зачитала Кириллу песню рудокопа из «Генриха фон Офтердингена», после чего Кирилл попросил меня вернуться к первой строфе, точнее, к двум первым строчкам: «Лишь тот земли властитель, / Кто в глубь ее проник...» Он не прокомментировал их иначе, как длившимся не дольше полуминуты, но плотным, напряженным молчанием, понадобившимся, видимо, чтобы повторить их пару раз про себя, заучивая.

Я сказала, что Новалис называл штольни телескопами Земли, и как лавры выпускнику Фрейбергской горной академии от способного понимающе наслаждаться почти одноклассника приняла *чудо*, умашенное однажды и навсегда впитавшимся благоговением. Чудесно сказано, оценил Кирилл, однако кто на кого смотрит в телескопы Земли: мы ли приближаем ее глубь или ее глубь приближает небо стволами наших штолен?

Да ведь это прямо один из афоризмов Новалиса! На гребне нашего тройственного единодушия я принялась рассказывать об авторе «Генриха...», но вскоре Кирилл, до того и после только перебивавший сказанное мною, давая этому отзвучать, но не прерывавший меня, сделал это единственный раз. Что такое, по моему мнению, голубой цветок?

Я бы сказала, что это универсум, все бытие, собранное в одной точке.

Произнеся это, я, хоть и по факту запоздало, не усомнилась в том, что читавший Соловьева Кирилл не только понимает, но, насколько это возможно вне капсулы пророческого откровения, представляет себе подобное.

В одной точке? Универсум?

Снова лишь задним числом я углядела то, через что перемахнул меня раж Любомудрствования, – третий этап, третье «п»: понимать и представлять было бы даже кошунственно,

не *принимая*. И тон, с которым были повторены мои слова, и упавшая между фразами звуковая тень, что-то вроде хмыканья, словно обличали во мне лгунью, попавшую на более компетентного знатока.

Для Новалиса – да. Он был во многом последователем Бёме...

Ну а для меня?

Спрашивая, Кирилл уже подводил меня вплотную к молчанию, нашему общему; оба мы не имели эзотерической оснастки, чтобы двигаться вперед, но Кирилл, увидевший это первым, первым и нашел брод.

Нет, он отнюдь не скептически относится к попытке изобразить бытие собранным в одной точке. Когда ему было лет пять-шесть, он по-своему понимал связь мнемонической фразы про охотника, который желает знать, где сидит фазан, и радуги. Ему представлялась картинка: зеленый дол, из леса с краю только что вышел охотник, перед ним во все небо полная радуга, и на ней, не венчая ее, скорее чуть сбоку от ее зенита, сидит фазан. Как выглядит фазан, Кирилл понятия не имел, зато знал, по иллюстрациям в книжках Бианки, тетеревов и глухарей, правда, путал их, поэтому на радуге у меня восседал тетерев-глухарь. Вся эта яркая олеография переливалась радостью охотника, в шапочке с пером, как из сказок братьев Гримм, наконец-то нашедшего, выйдя на опушку, своего желанного фазана-тетерева-глухаря. И Кириллу было очевидно, что стрелять фазана охотник не собирается.

Но и пусть бы с ним, с этим охотником, и с этим фазаном, и даже с этой радугой, если бы и позже, будучи старше, Кирилл изредка не спрашивал себя, где эта радуга, этот охотник и этот фазан.

Где же?

В той фразе, каждое слово которой означает цвет радуги. В иудействе и христианстве нет представления о некой блаженной стране, куда можно попасть после смерти или даже при жизни, вроде земного рая (что бы ни присочинил Данте – хотя он величайший из писателей), каких-то блаженных островов / островов Блаженных и тому подобного. Рай невозвратим, новое и другое принадлежит времени, а не месту, но слово «Царство», Kingdom, Reich, слишком напоминает о чем-то размещенном и ограниченном, о пространственных категориях, о царстве, в которое можно прийти, тогда как это Царство само приходит. Но и его ухитряются трактовать как место.

Что поделать, миф о месте, которое где-то есть, один из самых древних, самых прочных...

Потому что в основе его мечта.

Не воспаряющий захлеб, не водящий захват поставили под ударение «мечту», а гнев, вполголоса, вполсилы, но все же гнев, опознаваемый на слух безошибочно.

Что хотел мне сказать этот гнев? Что хотел сказать мне Кирилл картинкой и ее толкованием? Что искать надо не цветок, не фазана, не радугу, не иную *точку*; не лес и дол, виденья полны, а прежде всего не локализованную нигде правду Царства? Что мечта неизбежна, но преодолима?

Так или иначе, картинка Кирилла, разжалованная им, как аутентичный фазан, стала теперь моей, дотошно-четкая, лаково-свежая и ничуть не фантазмагорическая. Тетерев-глухарь был аппликацией, вырезанной из учебника по природоведению и наложенной на пусть несколько экзальтированный, но вполне достоверный пейзаж в духе Людвиг Рихтера или Антона Коха. Слишком большой, он к тому же рос и рос под взглядом охотника, вернее, под моим, чем дольше я смотрела, и я, в конце концов, сняла его с радуги.

Была ли я единственным человеком, с которым Кирилл мог говорить о том, о чем мы говорили, обозначить ли эти темы как «вера», «Бог», «богословие», «христианство»; почти с самого первого разговора я непреложно знала, что да, не от него самого, а от себя, и это не было самомнение. Он был единственным и первым, ради которого и благодаря которому я поднимала на поверхность залегавшее так глубоко, что сама только ближе к свету начинала видеть

содержимое вагонетки. В тоне Кирилла я узнавала свой. К моему фрагменту пазла он должен был приставить единственный смыкающийся, такой, по сути, механической, очевидной, прямой была эта взаимная единственность. У нас не было *понимания с полуслова*, о котором закатывают глаза, близнецового единодушия и единомыслия, унисона. Кирилл был старше на десять лет, другому учился, думал скорее о другом, чем по-другому, и его вера была настолько другой, насколько и будет сумма всех отличий. Мы смотрели не в одном направлении, а друг на друга, но мы видели друг друга, как не всегда смотрящие в одном направлении видят там одно и то же.

Судя по обмолвкам, он пристально следил за текущей политикой, особенно внешней, однако я все же не могла уверенно приписать Кириллу охранительные или либеральные взгляды, западничество или славянофильство; я и тут собирала урожай ботвы с репы и клубней с петрушки. Его удручала конфронтация России с Западным миром и особенно с Европой, удручала как некий фатальный самодостаточный факт, а не как следствие целенаправленного курса одной из сторон, и такое отмежевание от причины и сосредоточение на факте вскрывало не наивность, а экономию мысли, опускающую краткий обзор предыдущей серии. Ухудшение отношений России с Европой – обоюдная трагедия, и для той, и для другой грозит уходом от христианства; при этом никакого «кризиса» христианства нет и не может быть в принципе: Христос раз и навсегда один и тот же, так и Его Благая Весть, Его Искупление и Воскресение раз и навсегда *есть*; можно было бы говорить о кризисе христианской идентичности или, иначе говоря, народа христианского, если забыть сказанное по поводу «остатка», «малого стада», – идет нормальный процесс его выделения. Европа и Россия – Запад и Восток одного пространства; у России, безусловно, особый путь, но нет никакой особой миссии, и то же можно сказать о любой стране.

Узнавая Кирилла, я не узнавала его жизни. Ни разу не слышала от него слов «мой духовник», но значило ли это, что у Кирилла, как и у меня, нет духовника?.. Как он проводил свободное время: выходные, вечера в отсутствие причитающейся ему по возрасту семьи? Едва ли за хобби или волонтерством. В Интернете за просмотром скачанного фильма (ни разу не слышала я от него названия хоть одной киноленты), за чтением гомилетических текстов, например упомянутого как минимум однажды митрополита Антония Сурожского, комментарии к Священному Писанию – и новостной ленты, чересполосицей? С самим Писанием? С журналами вроде «Русского репортера», на который Кирилл пару раз ссылался и обложку которого, вероятно, в вагоне метро я когда-то так и не увидела, или «Наука и жизнь»? С минералогическим атласом или «металлическим» альбомом?..

Иногда Кирилл брал на заметку то или иное названное мною имя, и принцип выбора всегда бывал непрозрачен. Так, он обмолвился однажды, что читает Гофмана и, пока я прикидывала, непогрешима ли без исключения максима «лучше поздно, чем никогда», упомянул не «Крошку Цахеса» или «Повелителя блох», а «Фалунские рудники», новеллу, мне неизвестную и сейчас же найденную в Интернете.

Одним из памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщал тот же Интернет, является старинный медный рудник в шведском городе Фалуне. Фалунский рудник эксплуатировался свыше 650 лет и закрылся в начале 1990-х годов. Добыча медной руды достигла наибольшего расцвета в середине XVII века, когда эксплуатацию рудника обеспечивали профессиональные немецкие рудокопы, эмигрировавшие в Швецию из-за религиозных войн.

Гофман рассказывает историю молодого моряка по имени Элис, который однажды, сойдя на берег, узнает, что его единственный близкий и родной человек, его любимая, добрая мать умерла. С нею, потерянной невозполнимо, утрачен и смысл жизни. В горе юношу застают и пытается утешить незнакомый рослый и могучий старик. Оказавшийся рудокопом, он превозносит перед Элисом горное дело как самое достойное и благородное и уговаривает променять

на него мореходство, тем более что, как убежденно заверяет старик, Элис с рождения предопределен к тому, чтобы посвятить себя земным недрам. Юноша, которому теперь не мило и море, колеблется, но в ту же ночь видит сон: он плывет на корабле, но вот небо над ним оказывается породой, водная гладь – гигантским минералом, искрящийся многоцветный каменный и металлический сад прорастает со дна, прямо из сердец прекрасных, нежно поющих дев. «Невыразимое чувство страдания и блаженства охватило юношу, целый мир любви, неутолимой тоски и сладострастной неги возник в его душе»⁴; наконец и сама царица являет ему свой величественный лик... Элис решается переменить поприще и, ведомый своим загадочным вдохновителем, выросшим теперь до исполинского роста, приходит в Фалун, где поначалу рудник кажется ему жерлом ада, но затем располагает к себе честный и благонравный уклад жизни горняков. Юношу берет под опеку староста общины, арендатор рудника и смотритель в плавильном цеху; у него прекрасная дочь, немедленно пробуждающая любовь пришельца. Элис трудится в шахте, мечтая повести под венец Уллу. От своих новых товарищей он узнает, что в лице старого рудокопа, склонившего его сменить мореплавание на горняцкий промысел, встретился с Торнбьерном, духом-покровителем рудокопного дела; тем, кому Торнбьерн покровительствует, он показывает богатейшие жилы. Между тем отец Уллы как будто сватает ее за молодого купца; помрачившись умом от отчаянья, Элис бежит к шахте и призывает Торнбьерна стать отныне его вожатым и открывать ему лучшие жилы. Он вверяет себя подземному миру, отрекаясь от мира надземного с его обманчивыми надеждами. И тут же вновь – «...райские кущи дивных металлических деревьев и растений, среди ветвей вместо цветов и плодов пламенели огнями самоцветные камни»⁵. Поют девы; царица прижимает Элиса к груди, а его грудь в тот же миг словно пронзает луч... Когда Элиса находят товарищи, тот в беспамятстве. Тут выясняется, что его добрый домохозяин и отец его возлюбленной сам прочит за Элиса дочь и только хотел испытать серьезность его чувства и намерений. Радости Элиса и Уллы нет предела, но уже слишком поздно. Элис теперь отдается работе с каким-то остервенелым рвением, все меньше времени проводит он на поверхности; богатые жилы видятся ему всюду, как бы другие ни уверяли его, что никакой жилы нет; но он уже лицеизрел то, что скрыто от них, и он принадлежит подземному миру, он живет им и в нем, тогда как они лишь спускаются туда за добычей. Он любит Уллу по-прежнему и даже день ото дня сильнее, но чем ближе свадьба, тем реже и неохотнее покидает забой. Прямо перед венчанием он спускается в шахту, чтобы, как говорит невесте, добыть вишневый альмандин, прозрачная ясность которого откроет им их судьбу, и так они навсегда обретут счастье. Происходит обвал, погребя Элиса, и лишь через пятьдесят лет, когда рудокопы случайно находят окаменелый труп, верная Улла, каждый год в день гибели возлюбленного приходящая на рудник, прижимает к груди своего жениха прежде, чем тело его рассыпается.

Во время следующего разговора я напомнила Кириллу о его чтении и поблагодарила за наводку, обрадовав тем, что сходство с «Хозяйкой медной горы» не затуманило для меня своеобразие этой вещи, которую, конечно, Бажов вполне мог знать. Я сказала, что сходству, для источника которого безразлично, знал ли Бажов гофмановскую новеллу, поскольку источник и ее, и уральских сказов – вненациональная горняцкая мифология, так вот, сходству фабул здесь прямо пропорциональна разница в осмыслении и воплощении. Преображенный подземный мир и его царицу, не произносящую, кстати, ни слова, видит только Элис. Он не нуждается, как мастер Данила, в откровении тайн мастерства от земли-возлюбленной; его изделие – не малахитовая чаша, а целый мир, им, романтическим художником созданный, единственный, где он может дышать, в котором спасается и жертвой которого становится.

⁴ Перевод И. Стребловой.

⁵ Перевод И. Стребловой.

Кирилл не принял моего прочтения. Тут притча не о художнике, но об обычном, слабом человеке; Элис гибнет не потому, что ищет спасения в им же созданном, а потому, что ищет спасения от реальности. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Это работает независимо от того, чем спасается имярек, художник он или – филистер, подсказала я. Но тогда *спасавшиеся* в Швецию немецкие рудокопы предвозвестили, заложили сюжет новеллы, независимо от того, гибли они под обвалами или отходили на одре болезни, дожив до старости. Нет, сказал Кирилл, Гофман взял за основу реальный случай: в конце восемнадцатого века из фалунской шахты действительно извлекли человеческие останки, полностью замещенные пиритом, которые смогла опознать только невеста погибшего: потому Кирилла и привлекло название, что «Фалунский феномен» – хрестоматийный пример псевдоморфозы пирита.

Как-то, позвонив, Кирилл начал с того, что в Москву после большого перерыва приезжает немецкий коллектив, честь разогреть публику перед выступлением которого выпала когда-то группе «Konrad»; концерт ровно через неделю, они с Иваном собираются идти уже как слушатели, и я, если мне интересно и нет других дел, могла бы присоединиться. Я подтвердила и свою незанятость, и свой интерес, уже из того истекающий, что я никогда не бывала на *таком* концерте, то есть на концерте *такой* музыки. Вот и он так подумал, поэтому билет для меня уже есть, впрочем, его еще можно вернуть, так что я не должна чувствовать себя связанной.

Это простодушно упакованное в скользяще-деловой тон кокетство насчет моей связанности билетом я списала на то, что произносятся эти слова уже как бы в присутствии третьего, друга, на, возможно, еще нерешенность, как меня отрекомендовать. Прежде всего о том, что прочту во взгляде Ивана, когда буду представлена, разумеется, просто по имени, без определения, которое будет дано или уже дано заранее, – об этом я думала по пути на «Семеновскую», но также и о том, стоит ли, из кокетства же, напомнить Кириллу, что на «Семеновской», где теперь встречаемся *мы*, месяц назад я выскочила из вагона вслед за человеком, у которого не было еще ни имени, ни музея имени Ферсмана, ни нойе дойче хэрте, ни Ивана, ни такой сестры, как я. Зная, что не напому, я отвлекала себя этой, второй мыслью от мысли первой.

Мы встречались на «Семеновской», чтобы зайти за Иваном в офис. Помнил ли Кирилл о том, что в светло-серое здание я вхожу не впервые, не удалось понять, так как всю, оказавшуюся совсем недолгой, дорогу от метро до офиса он вел по телефону переговоры с поставщиком.

Иван выглядел моложе Кирилла и был ниже как минимум на голову. В их одновременности рядом было что-то странное, сугубо странное тем, что и странно раздражающее, и странно приятное, – как я сообразила потом, контраст и равновесие тезиса и антитезиса. Не только subtilностью, короткими темными волосами и бородкой, очками, как-то мельчившими черты лица, но даже камуфляжными штанами с армейским ремнем и ботинками «гриндерсами» Иван отвечал на Кирилла и отрицал его. Нельзя было измыслить пары друзей более гармонично-завершенной, но, как всякая удовлетворенная завершенность, эта была и печальна, поскольку закрыта к внешнему, одинока. Так ли было на самом деле, но я бы только кивнула, окажись, что Кирилл единственный друг Ивана, а Иван – единственный друг Кирилла.

Как я и ожидала, Кирилл просто назвал мое имя, поскольку все, объясняющее мое положение при нем, было сказано без меня, и во взгляде Ивана, когда тот вышел навстречу нам из-за хлипкого и мальчишеского, себе под стать компьютерного столика, не прочитывалась эмоция, как-либо оценивающая это мое положение при друге.

Мужчины были настроены, вероятно, состоянием дел фирмы, ничуть не празднично, почти сумрачно, или при мне, девице, полусознанно подмораживали свое обхождение до приличествующего их полу градуса. На стоянке Иван привел нас к бордовому «Пежо» довольно старой модели, я не смогла бы сказать, против чего оно вопияло пронзительнее: против камуфляжа и «гриндерсов» или против чего-то еще третьего в Иване, знаком чего бедно тускнела

сзади под с тусклой же тщательностью остриженными жесткими волосами серебряная цепочка; хотя и правильный ответ не подобрала: «Урал», джип-сафари, есаульский конь?..

Когда мы разместились, я на заднем сиденье, Кирилл рядом с водителем, Иван сказал, что Полина в последний момент решила все-таки пойти, и мы сейчас заедем за ней к бассейну. Полина, объяснил он для меня, это его девушка, в бассейне она работает тренером и, между прочим, может устроить мне абонемент. Кирилл с неожиданной серьезностью подхватил, повернувшись ко мне: да-да, и я поняла, что на весь вечер очутилась в реальности, чем-то подобной салону «Пежо», рассчитанному на четырех человек.

Полине было лет двадцать восемь. Ее правильно-незначительное лицо напоминало пустой формуляр, но пустотой-чистотой, успокаивающей и, без приветливости, внушающей готовность открыться. Одна из тех всегда немного зажатых, немного недоверчиво-строгих молодых женщин, которые часто имеют низковатый для своей стопроцентной женственности тембр, именно такой и обнаружила Полина, поздоровавшись со всеми, а со мной без малейшего обособления меня как «новенькой». Под капюшоном белой пуховой, очень короткой куртки, когда Полина откинула его, сев рядом со мной, оказалась стрижка, о которой следовало бы сказать «под мальчика», не поблескивая по бокам несколько заколок для придания большей аккуратности или большего изящества.

В том, что мы четверо сидели не попарно со своими спутниками, а мужчины впереди, эдак прикрывая, женщины же, эдак уютно доверившись, за их спинами, было что-то мирное и теплое, чем будто надо было запастись перед не самым уветливым местом и не самой умирной музыкой. Сепарированные, мужская и женская двоицы как бы забыли друг о друге: Иван, озадачив было Полину абонементом для меня и остановленный мной, говорил до конца поездки с Кириллом, Полина же, которую на руках перенесли через барьер застенчивости, обратилась ко мне с вопросом из учебника по этикету: бывала ли я в этом клубе раньше. Сама она была один раз, с Ваней, Ваня тогда все рассказал ей о группе, которую они услышат, и сейчас тоже подробно рассказал, потому что вообще-то она в этих метал (л) ах плохо разбирается. Я тоже; наши улыбки, моя – ей и ее – мне, поддержка на поддержку, как бы возводили в данный от века, но нетяжкий и благодарный удел перенимать если не вкусы, то образ жизни своего мужчины.

Хотя я сразу поняла, что она имеет в виду под «метал (л) ами», меня словно кольнуло, по мне пробежала дрожь, и я увидела как бы освещенное вспышкой... что? Таблицу Менделеева? Переливающуюся рудную глыбу? Неопределенный предметно блеск?

Припарковавшись, где было дозволено, то есть далеко от цели, мы шли по переулку, в бесснежной полутьме дающему различить свой промышленно-жилой орнамент, так же, как ехали. Вспугнуто-рассеянный взгляд Кирилла дважды пересекался с моим, когда тот оборачивался, то ли уловив какое-то сказанное мной или Полиной слово, то ли проверяя, не отстают ли женщины, один раз по пути и один раз перед шлагбаумом, за который мы прошли на территорию бывшего завода.

Два пролета узкой лестницы, на которой мы, прибыв одними из последних, все же застали толчею, от собственно концертного зала отделял бар. Сесть можно было только на высокие стулья вдоль стойки и на черный кожаный диван-каре, и все места уже были заняты. Кирилл, Иван и Полина встали, прислонившись с внешней стороны к спинке дивана и нависая над головами занимавших диван. Начало концерта задерживалось. Эссенция «Konrad», Кирилл с Иваном, однако, не привлекли ничьего внимания, и даже знакомые среди этого просеянного по преданности жанра люда у них не нашлись – во всяком случае, к ним никто не подошел. Мои спутники взяли по стакану, Кирилл – пива, другие двое – колы. Чаем и кофе для не пьющих ни газировку, ни алкоголь вроде меня бар не располагал, но мне не хотелось пить, и я встала чуть поодаль от своей компании, чтобы не слышать их, даже Кирилла, словно в прорехе между

общением по пути и самим действием нужно было находиться нигде, без других и без самой себя.

Зал со сценой когда-то был цехом. Там тоже было негде сидеть, вернее, не было сидений, а возможности сидеть как раз были, как и возможности стоять, не ограниченные даже стенами, вдоль которых тянулись пожарные лестницы, образуя два яруса «балконов», и на этих лестницах стояли и сидели. Я рассмотрела публику. Преобладали совсем юные, годившиеся Кириллу в дети, за ними по численности – его ровесники, между тем как людей в возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти можно было пересчитать по пальцам. Некоторые девушки оседлали плечи своих спутников. Видимо, несмотря на Полинин статус *девушки*, их отношения с Иваном уже миновали стадию, когда такое естественно, потому что Полина поднялась на нижний «балкон», я последовала ее примеру. Вскоре к нам присоединился Иван, Кирилл же остался внизу. Стоя в самом центре толпы, над которой возвышался, он неотрывно глядел на сцену и, если слушал, то, насколько такое возможно, слушал глазами, которые не были мне видны, но казалось, что и анфас чуть сверху – макушка, лоб, щека, нос, шея – выдает взгляд, совсем не тот, каким Кирилл смотрел через стекло витрин. Почему Кирилл не общался весь вечер со мной, было мне понятно, хотя логически и грамматически оформленное объяснение меня самую убедило бы в последнюю очередь. Но он казался отсутствующим здесь, на этом концерте и в этом вечере, и находящимся где-то, где был с этой музыкой наедине, где исполнял ее и где она его исполняла.

Когда музыканты поднялись на сцену, встреченные никаким не «ревом», а скорее как если бы птичий гвалт с его восходящими отрывистыми стопами вытянули в стройный хоровой запев, когда загремела первая композиция, я на себе узнала, что радость в толпе не передается, как факельный огонь, извне, а возгорается внутри у каждого, будь то радость восхищенного, но и домашнего узнавания или, наверное, только у меня из всех, радость новизны. Однако сказала ли моя непривычка к живому слушанию подобной музыки или усталость, но вскоре мое ухо перестало разделять издаваемое на сцене и вне сцены, все мои чувства канули в ощущение шума. Я знаками показала Ивану и Полине, что больше не могу выносить громкости и ухожу, и попросила передать Кириллу мои извинения. Я спустилась вниз, обходя сидящих на ступеньках. Сверху казалось, что яблоку негде упасть, но люди стояли не так уж плотно, и по стенке я прошла на улицу. Постояла во дворе. Здесь музыку приглушали и кирпичная кладка, и как будто бы чернота неба, и мороз. Слабо рябящая городская полутьма казалась тишиной. В автобусе, везущем меня до станции метро, я думала о том, как быстро возникли эти, первые новые после огромного перерыва люди, и с ними у меня нет ничего общего. Я разыгрывала перед собой, что думаю о музыкантах немецкой группы и ее поклонниках, но, как светящаяся ячейка целого, видела троих, с которыми пришла на концерт, и среди них Кирилла. С ним что было у меня общего, кроме одинаковых колец да невидимых другому под одеждой крестов? Старая дева, живущая с родителями почти в центре Москвы, канцелярский работник на низкооплачиваемой, но спокойной службе, нездоровая, но и не слишком тяготимая своим нездоровьем – искала ли я другую себя, которую в любой момент можно бескровно оставить? Но не далеко ли зашла, оставив позади, наоборот, бескровность?

Кирилл позвонил на следующий день, в первой половине, и первым я услышала именно то, чего ждала. Ответить, как мне концерт, было легко, но тяжело отвечалось. Кирилл, видимо, также услышал то, чего если не ждал, то желал, и, по обыкновению, перебил, не прервав. Может ли он позвонить мне вечером, если вечером у меня есть время для разговора? Нынешний неурочный дневной звонок был, похоже, пробным и не замещающим вечерний, а готовящим и потому был обиден. Меня расчетливо заинтриговывали и ради этого отчуждали, ведь в воскресенье вечером, как, впрочем, и в любой день, у меня всегда было время для разговора с ним, и прежде у Кирилла не возникало на этот счет сомнений. Он обижал меня, как сестру, но

я не стала выговаривать, как обиженная сестра, имеющая право и обидеться, и выговаривать, а коротко подтвердила, что вечером время у меня есть.

То, с чем спустя несколько часов позвонил Кирилл, своим весом выдавило обиду. Он счел нужным рассказать, почему была распущена группа. Если бы я не ушла вчера с концерта, он вряд ли бы стал ворошить, но мой уход напомнил ему, то есть, лучше сказать, символизировал для него его уход из той музыки, которой, совершенно верно, он отдавал себя, не без кризисов, как-никак шесть лет. Он ушел, потому что обратился. Он больше не мог быть в этой музыке, жить ею. Его и раньше смущало в ней слишком многое, что, мало того, что не смущало, а было дорогое его товарищам по группе. Даже Ване тогда. Им нравилось устрашать. Им нравилось казаться агрессивными, ненавидящими, казаться хуже, чем они есть. Им нравилась ненависть эстетически. Кирилл вовсе не выставляет себя добряком, он не добр, но он никогда не любил злости, возможно, потому, что еще в детстве понял, что ее назначение – разрушать, как назначение любого оружия – разрушать живое тело; однажды он почувствовал это и с тех пор оружие вызывает у него отвращение на грани физической боли.

Кирилл, когда слушал «Rammstein» и вначале исполнял их композиции, когда только замысливал свою группу, видел «Konrad» немного иначе, чем то, что стало получаться у них уже в первый год, и намного иначе, чем то, что являла собой группа на седьмой. У тех же «Rammstein» ему дорог – Кирилл запнулся, подбирая слово, значит, говорил он вживую, если мысленный «черновик» и был, то совсем схематичный, – *драматизм*, даже не экспрессия и не агрессия тем более. Тогда он не смог бы так формулировать и, уж конечно, с ребятами заикнуться этим словом, «драматизм», для них это было бы слюняйство. *Herzeleid, Sehnsucht*, «сердечная скорбь», «томление» – так назывались два первых альбома «Rammstein», и это были первые для него осмысленные немецкие слова. Слушая эту музыку, он слышал выкрученное до предела, всегда хотящее быть выкрученным до предела, которое, если злится, то оперевшись в предел, – томление, отчаянье и любовь; он слышал рыдание от предельности. Даже сейчас только в разговоре со мной он может произносить эти слова, в разговоре с Ваней, например, они его самого покоробили бы, хоть он и знает, что слюняйства тут ни на йоту. Вот что должно было его коробить, да, кстати, и коробило, хоть он и запрещал себе пестовать недовольство, так это некоторые строки и даже целые тексты их же собственных, конрадских песен. Кирилл, увы, полностью лишен поэтических способностей, тексты поставлял человек, который даже не был участником группы. Это была его тогдашняя спутница. Да, С. Шумейко (фамилию решено было оставить, как, в шутку, разумеется, вполне себе «индастриал», а вот инициал не раскрывать – не раскрыл мне его и Кирилл, – мол, мы же все-таки не «Ария», нас женское авторство скомпрометирует). Ему казалось, что ее стихи не до конца соответствуют духу нойе дойче хэрте, но Ване и остальным они очень нравились.

А каков он, этот дух, по его мнению? Будь у Кирилла поэтические способности, о чем бы он писал?

Поскольку способностей нет, он никогда не давал себе труда задумываться об этом как следует. Во всяком случае, слов точно было бы меньше. И не было бы рифмы, или она служила бы только для опоры, а не для благозвучия, нарочно примитивная, вообще они не походили бы на тексты Линдемманна, пусть даже те по большому счету Кириллу нравятся... Проще было бы сочинить хоть один текст для примера, чем объяснить, но как раз это и невозможно, как невозможен подчас самый простой и прямой путь.

...Собственно, крещение только подтолкнуло то, что уже вовсю шаталось. Первое время, конечно, неофитский ригоризм не подпускал его даже к бывшим товарищам по группе, однако и с «металлической» тусовкой он порвал, как выяснилось, навсегда. Друзья обижались, думая, что он видит нечто греховное в музыке, но он никогда не приписывал музыке то, что может быть применено только к человеку, ее исполняющему. Нет зла в Боге, как нет его и в музыке.

Я не сказала Кириллу, что благоволением свыше ответы ровно на те мои вопросы, которые я однажды не смогла задать, пришли ко мне сами, и тем более не сказала о том, что было еще разительнее. О совпадении, которое отворяло молитвенные слезы географу доспутниково́й эры, когда мореходы подтверждали бытие им предположенного; о совпадении человека, читающего в метро журнал, с тем, что я на него спроецировала, а человека, поющего внутри грозовой метал (л) ической тучи, с тем, что расслышала из этой бури.

Почему не сказала – Бог весть; как не сказала о том, что тоже учила немецкий, с помощью онлайн-курсов, просто из любви к этому языку, и читаю на нем. Предположительно и Кирилл утаивал от меня что-то, в чем открыться было бы ничуть не зазорно (хватало и того, скрывание чего поощряемо, вроде моего синдрома, о котором я, сомневаясь, не напрасно ли, молчала), но ведь не соображение баш на баш двигало мною – тогда что же? Не то же ли, что заставляет нас, заприметив в магазине или в транспорте знакомого, вполне нам приятного, прятаться за стеллажами или спинами?

С того дня и до конца года Кирилл звонил каждый вечер.

Я нашла в Интернете и заложила страницу Горной энциклопедии, к ней добавилось несколько иллюстрированных изданий по геологии для школьников. Родители подсмеивались, чтобы только не дрожать слишком явно для самих себя над тем, в чем видели исполнение чаемого, да и я старалась вышучивать свою преданность, поминая заповеданный женский *удел*. Гуманно умолчав родителям о своем сестринстве, я так же молчаливо поддерживала в них уверенность, что они разделяют мои вполне естественные надежды и понимают, почему я скрываю свои штудии от Кирилла, чего не понимала и я.

Как бы то ни было, втайне от Кирилла я завела в пандан к его горам свои, такие же бесправно-картонные, как я, такие же покорные братской воле, как подобает сестрам. И, как любой секрет, только и ждущие о себе проговориться. Углубления и возвышенности наших разговоров словно стали воплощаться в вырастающих горе Кармель, горе Чистилища. Как-то я сказала, что меня пугают ледяные вершины духа. Ледяные вершины духа?.. Выражение показалось ему знакомым: не из Бердяева ли?.. Я не помнила откуда, но выражение казалось знакомым мне самой, как нечто, что точно нельзя приписать себе. Кирилл попросил меня подождать и, пока я ждала, не зная, чего жду, сделал запрос в Интернете, вернувшим *ледяные вершины духа* по месту проживания: Томас Манн, «Тонио Крёгер».

Мне приснилось, что мы с Кириллом едем на поезде через ущелье так высоко в горах, где очевидно не прокладывают железных дорог. Кирилла, сидящего напротив, нет в кадре, потому что я смотрю за окно, но чувствую и его неотрывный взгляд на том, что вижу, и так – его присутствие. Я не вижу никакой заскорузлой могучести. Только снег, но как будто растаявший и воскресший.

2

Он отдал ей все силы, С ней связан сердцем он И, как невестой милой, Всегда ей восхищен⁶.

В один из последних дней декабря Кирилл спросил, где я буду встречать Новый год. Я всегда встречаю дома с родителями, это наш праздник, а вот на Рождество мы идем к родственникам, там большое застолье, оба торжества – семейные и домашние. Кирилл секунду помедлил, как бы принимая к сведению, и я, откуда ни возмись легко, пригласила его на Новый год к нам. Усыновление Кирилла моими родителями вдруг представилось с безгрешной непогрешимостью. Вместо согласия он торопливо задал вопрос, который, видимо, готовил вопросом о встрече Нового года: не хочу ли я, в свою очередь, поехать тридцать первого вместе с

⁶ Новалис. Перевод В. Гиппиуса.

ним, Иваном и Полиной за город к их общим друзьям, супружеской паре. Там обычно собирается компания из двенадцати – пятнадцати человек, считая детей, дом со всеми удобствами, отлично отапливаемый и просторный – два этажа плюс мансарда, две комнаты для гостей, у кого нет пары ночуют в детской и на веранде. Начинается отмечание в одном пабе с боулингом при коттеджном поселке, словом, бывает довольно весело; так заведено уже не первый год.

Я отказалась, сославшись на невозможность отнять у родителей праздник, праздничный для них только втроем, как бы они сами ни вытаскивали меня в гости, узнай о приглашении. Кирилл неожиданно охотно понял и, казалось, не словом, а тоном одобрительно удивился.

Мне не хотелось жертвовать своим, родительским и нашим общим с ними праздником ради чужих людей, чужого коттеджа и паба с боулингом, но я также знала, что пусть не я сама, но мое присутствие растворится для Кирилла в его кругу. Его отказом на мое приглашение выступило это поперечное приглашение, выступило, но не было должно исходно чему-то перечить – напротив, я перехватила ход, когда Кирилл собирался позвать меня в свой круг. Вряд ли *мой* оттолкнул его узостью и интимностью, скорее мои родители, как родители, а не как мои, общество тех, кто именно мог бы его усыновить.

Тридцать первого Кирилл прислал поздравительное смс, в первые дни наступившего года вечерних звонков от него не было, что я объясняла последней неделей поста. На Рождество тоже было послано смс. Я ждала встречи, хотя бы для того, чтобы вручить подарок. Из единственной поездки за рубеж, в Дрезден, пришедшейся на рождественские каникулы, я привезла образчик местного кустарного промысла, горняцкой резьбы по дереву, не игрушечно-безыскусной, а ради почтения к теме реалистической и потому тонкой, – скульптурка высотой менее пяти сантиметров, изображающая Святое Семейство. Это не был привычный «вертеп»: св. Иосиф, нависая над Богородицей и Младенцем у нее на руках, как бы прикрывал их полами своего плаща и замыкал себя вместе с ними в подобие одушевленной пещеры, каковой видимости способствовал и близкий к цвету песчаника сливочный оттенок некрашеной древесины, а вся группа получала яйцевидную форму. Маркетинговый умысел, покушавшийся на продажи и под Рождество, и под Пасху, ненароком проложил стезю богословского толкования, впрочем, благочестивая неприязнительность трехмерного образа отводила любые мысли.

Шли Святки, но Кирилл не звонил. Исчезновение тревожило, и несколько раз я чуть не доводила до отправки смс с вопросом, не случилось ли чего-нибудь, но поворачивала назад, смущаемая наивнейшим и тем наглешим намеком, который несправедливо, но оправданно мог усмотреть адресат. Страница Кирилла в социальных сетях, какой я застала ее, зайдя однажды еще осенью, оставалась почти нетронутой владельцем с прошлого лета, когда была создана, об оживлении ее радели «друзья», делившиеся юмористическими и, реже, музыкальными видео. Свою страницу я проводывала тоже редко, хоть и не настолько. От себя Кирилл успел вывесить, примерно с месячными промежутками, несколько ссылок на довольно многоумные прогностические статьи, трактующие о политическом, социальном и религиозном будущем Европы. «Обложкой» служил тёрнеровский «Ангел, стоящий на солнце». Но обновлением, опять-таки месячной давности, я была так счастлива, что счастье на миг ослепило тревогу, чтобы тотчас вооружить ее сверхмощными линзами: от «Песни рудокопа», сопровождаемой ссылкой на статью о Новалисе в Википедии, вернее, от счастья за себя мне стало страшнее за Кирилла. Этот пост был предпоследним, не считая чьей-то любительской видеозаписи декабрьского концерта, которой поделился Иван. Сколь ни мерзко было предстать перед ним глуповато-лукавой упрямницей, истерически заговаривающей свою брошенность, я спросила его через мессенджер, как давно он общался с Кириллом, все ли у того в порядке. Ответ был таков, что Кирилл, сколько Иван его знает, вообще не склонен общаться с кем бы то ни было ежедневно и даже еженедельно, они, например, последний раз виделись на концерте, одним словом, волноваться рано. Что-то удержало меня возразить, что мне Кирилл звонил ежедневно еще пару недель назад.

Я дала своей гордости времени до субботы, а в субботу отправила смс. Кирилл перезвонил: он тронут моим беспокойством и очень жалеет, что причинил его мне; у него все в полном порядке и даже больше, но об этом распространяться он сейчас не может и просит только совсем немного подождать. Такого Кирилла, который говорил таким голосом и так, я прежде не знала. Этот голос, немного сказавший, был говорлив, он был родниковый, струйный, и мне почти виделись свивающиеся, ребрящиеся на бегу водные пряди. Он был нежнее и подвижнее, но не собеседнику предназначалась эта нежность. Так мог говорить, таким мог быть только человек, у которого все действительно более чем в полном порядке, настолько счастливый, что счастьем забито его жилище от пола до потолка, и он при всем желании не смог бы привести туда гостя. Этого мне хватало надолго вперед, и я как будто сразу забыла и бывшее, и будущее ожидание.

Его день рождения был на третий день по Богоявлению, и я решила, что Кирилл нашел разумным сделать из своего личного праздника как бы коду, и два моих разом врученных подарка кстати впишутся в его замысел. Ожидая у стойки почтового отделения, пока сотрудница вынесет бандероль с заказанным через Интернет и присланным из другого города зеленым томом «Литературных памятников», я думала о том, что любовь известна мне единственно как невидный труд мысли, как спрятанная трубой и от грунта, который когда-то омывала, и от людей наверху, для кого и сам грунт спрятан уличным покрытием, гудящая в бетонные стены, пополняющая такой же бесславный катакомбный резервуар умственная, а потому и душевная работа. Sehnsucht могло замутить ее, но деятелем в этой работе был интеллект, а не чувство, свет, сосланный в потемки, а не тьма, вылезшая на свет. И, анализируя чужие описания любви, я обнаруживала, как нерв ее, мысль, разогнанную до такой скорости, которая делает ее невидимой. Если бы я, подобно пишущим о любви, осмелилась выйти со своим контрафактом на мировой рынок, то есть объявить касающееся доподлинно только меня касающимся каждого, я сказала бы, что любовь – безответная мысль, а к безответной любви это относится вдвойне. Любой может хотя бы раз в жизни полюбить безответно, но некоторым дано любить лишь так, что их любовь рождается безответной, потому, что по своему рождению мысль. Безответная от рождения любовь начинается во взгляде, взрывающем косную породу тьмы. Безответная от рождения, она зряча, в этой зрячести иногда прозорлива, но всегда бесстрашна. Безответная от рождения, она ставит вопрос, исследует, все проясняет и никогда не находит.

Кварц вернулся ко мне непроглядным январским светом, ночным аметистовым и утренним цитриновым, потому что январю не положены дни, его сутки состоят из затяжного утра и безвременья ночи. День рождения Кирилла миновал меня.

Кирилл позвонил в феврале. Он не стал извиняться, но его тон списал необходимость извинений, и если я знала, что приму их, то, едва услышав Кирилла, поняла, что он никогда не был мне их должен.

Накануне Кирилл виделся с институтским другом, тот сам вызвал его, хотя они не общались уже п лет. В «вызвал» неспроста слышится некоторое самоуничижение: этот Леня очень преуспел, что, по совести говоря, их и развело. Но если Кирилл и позволял себе обижаться, то обида его покрыта с лихвой: золотодобывающая компания, одна из крупнейших в России, создает дочернее предприятие, и Леню назначают директором, это дело решенное, так что он подбирает себе сотрудников и вот вспомнил о нем, которого он к тому же знает как геолога по призванию и студента-отличника. Предстоит собеседование, но Леня говорит, что это формальность. У Кирилла для меня небольшой запоздалый подарок, так что надо бы встретиться, в любой по моему выбору будний день вечером на «Семеновской», там поблизости имеется какая-то особняком стоящая пиццерия, где, возможно, не будет чересчур людно.

То, что наша первая в году встреча назначена на будний, а не на выходной день, казалось естественным смирением всех прежних устоев перед шквальной новизной. Этот шквал

был распластан в голосе Кирилла и ежесекундно укрощался, уплощался до мелкой поземки-повестки, где предусмотрен и пункт «занятость». В его голосе уже не было январского струнного струения; чему бы он ни был счастлив месяц назад, нынешнее, свежее счастье легло вторым слоем, придавив, утяжелил и упрочил тон. Этот закрепляющий слой уже не прозрачно нежил и сладко изумлял, он взыскивал серьезности. Радостный ужас, который можно было только, не смея глянуть, ровно сложить вчетверо, как лист А4, и спрятать в папку. И мое признание в радости за Кирилла звучало бы легкомысленно. Я просто сказала, что готова встретиться в любой день, когда ему удобно, и Кирилл, недолго выбирая, назвал понедельник.

Тот понедельник на работе просвечивал для меня сквозь сусальное напыление. Золото заглядывало мне в лицо, оно конвоировало меня всюду, но своей неотлучностью, будто сон, который, по поверью, надо толковать наизнанку, учило от противного. «Их золото раздавит, / Их сгубит алчный спор, / А он лишь вольность славит, / Владыка ясных гор».

Я знала, что фирма больше не приносит дохода, что Иван ликвидирует ее со дня на день и уже устроился продавцом-консультантом в магазин спортивного инвентаря. Четыре года как разведенный, он платит алименты на сына, правда, сын уже в одиннадцатом классе, но бюджетный вуз ему вряд ли светит... Мысль об Иване, трезвящая, как китайский пластик спорт-товаров, почему-то играла на стороне того сказочного, сундучно-хоромного злата, которое мешало увязать его с тяжелой промышленностью и тяжелой обыденностью, с крупным бизнесом и худосочным трудоустройством, предостерегая, прогоняя от себя, от греха подальше. Но не было ли мое предвзятое недоверие золоту накипью ревности к нему? И не к самому золоту даже, а к тому, что оно синекдохой знаменовало, тому, что упрочивалось в жизни Кирилла и, упреждая его отдачу, уже начало отдавать ему сторицей?

По уговору Кирилл ждал меня за столиком. Он постригся, и его лицо оказалось неприкрыто широким. Кирилл был в костюме того цвета синей сливы, который с некоторых пор утвердился как корпоративная «классика», хотя уже успел понизиться до среднего звена; белая рубашка под пиджаком, галстука не было. Утром было собеседование. Кирилл улыбался и напряженностью будто только сдерживал себя. Теперь я могла поздравить его и поздравила.

Компания еще ведет маркшейдерские работы на коренном месторождении в Иркутской области, но строительство рудника – дело уже решенное, обогатительную и аффинажные фабрики начнут строить параллельно, так что отъезд Кирилла не раньше, чем через полгода. Его взяли на ставку инженера-технолога; он предпочел бы лабораторную работу с образцами или, уж если ехать на рудник, что совсем не манит, так вот уже если ехать, то он надеется хотя бы раз, любопытства ради, побывать... Кирилл запнулся.

Под землей? Обычные слова для меня и обыденные для того, кому были подсказаны, меня саму испугали смелостью, смелостью, возможно, бездумной, против осторожности Кирилла.

Ну, строго говоря, под землей ему делать нечего – Кирилл опустил глаза на кольцо, обещавшее с его помощью вокруг фаланги, – но вот непосредственно на руднике он себя представлял... наблюдать за подъемом руды, а добывать там будут закрытым, шахтным методом... Впрочем, добывать *золото* предстоит как раз ему, освобождать золото из руды, он будет держать в руках то природное целое, еще не прошедшее аффинаж, еще не очищенное от примесей, не разделенное искусственно на золото и серебро; *настоящее* золото, пред-золото для большинства и единственное для Земли. Он часто думает о том, что у Земли все существует вместе: золото с серебром, железом, свинцом, а человек разрушает это единство. А с другой стороны, именно так человек возвращает элементам самостоятельность и чистоту, существующую в Божьем замысле. Есть мнение, что золото занесли на Землю метеориты, пробившие земную кору, то есть оно попало в глубь Земли с неба. С небес – сразу под землю, удивительная судьба, если вдуматься.

Значит, человек возвращает элементы к их идеям. Он как бы возвращает их на небо.

Если меня мои слова заставили притихнуть, то Кирилла взволновали, мне захотелось протянуть палец и затормозить шестереночное верчение кольца, и я вспомнила, что мы с Кириллом еще никогда друг до друга не дотрагивались.

Его оперативное возвращение с небес на землю разрубило гордиев узел, не дав тому затянуться. Отсрочка позволит ему пройти курс повышения квалификации, но первую зарплату он получит уже через месяц; положили пока пятьдесят тысяч, однако перспектива вырасти до начальника фабрики сулит в разы больший оклад.

Я не была уверена, что вправе спросить, знает ли мать о его новой работе.

Мы уже вставали из-за столика, когда я вспомнила о подарках, которыми мы так и не обменялись. Кирилл подарил мне осколок горного хрусталя, не пояснив, откуда тот, но я вспомнила, что в вестибюле музея имени Ферсмана отведен уголок под сувенирную лавку.

Он без фальшивой благоговейности, но с ненаигранной серьезностью рассмотрел, держа большим и указательным пальцами изделие саксонского умельца, а отставив, сразу стал листать в поисках стихотворения. Здесь другой перевод, и даже лучший, одна последняя строчка чего стоит: «Тебе достались горы, веселый властелин!»⁷ Мы засмеялись, и даже если это был не первый раз, когда я услышала смех Кирилла, то уж точно первый, когда смеялась вместе с ним.

В тот день, по желанию Кирилла, мы перешли на «ты». Когда мы уже стояли перед входом в метро, я сказала: «Ты господин Земли. Der Herr der Erde». Мне хотелось повторить смех вдвоем, но я добилась того же, чего и когда-то давно, в ноябре, сказав, что всегда мечтала о таком брате, как он, – взгляда, зависшего под собственной прозрачной тяжестью.

Кирилл снова звонил регулярно, не ежедневно, как в конце прошлого года, но на неделе раз, однако теперь всегда по будням. Я объясняла это графиком курсов, как новой нагрузкой, требующей более основательного отдыха, объясняла укороченность разговоров в сравнении с прежним. Мы говорили обо всем том же, о чем в прошлом году, но Кирилл не касался предстоящей ему работы.

Золото больше не страшало собой. Уже не затхлое злато, злобно-блестящее, злобно-людское, а кто-то, кто ждет Кирилла, оно грело нас обоих через километры дали и глубины.

Шли первые дни марта с их палевым сланцеватым горизонтом; в один из них Кирилл сказал, что хочет кое с кем меня познакомить. Место встречи, которое он назвал с ходу, как решенное, «Старбакс» на Тверской, не просто было новым, а в нем было что-то вечно-новое, забывчиво-новое, как всегда новыми и не помнящими прошлогоднего кажутся его постоянные посетители.

На низком диване перед таким же низким столиком сидели Кирилл и женщина примерно моих лет. Кирилл встал при виде меня, и показалось, будто он раздвигает простор, устранив с пути моего взгляда на сидящую рядом. Одновременно замахала мне рукой женщина и пришел в движение тойтерьер на ее коленях, проявившись, поскольку его одежда-футляр повторяла цветом железной фольги хозяйкину дутую безрукавку, из которой выходили розовые рукава тонкого эластичного свитера и вдоль которой ниспадали два льняных потока, убранные надо лбом солнцезащитными очками, открывавшими таким образом бронзовое от напыления загара по натуральной смуглости лицо и тепло-темные глаза.

Кирилл представил нас с Лантой друг другу и предоставил друг другу, только попеременно глядя на каждую и за два часа подав всего несколько реплик.

Ее полное имя было Иоланта. Психолог по образованию, работала Ланта по призванию – дизайнером праздников. Я и не могла слышать о такой профессии, ведь Ланта сама ее придумала: дизайнер, а не организатор – а то все путают! «Дизайн праздников» было отпечатано на визитной карточке, тут же мне врученной, с увещанием прибегать к услугам для корпоративов и всегда получать пятидесятипроцентную скидку. Я отблагодарила Ланту, к ее же

⁷ Перевод В. Микушевича.

чести позволив себе оспорить первопреходство за счет преемства от гениев эпохи Возрождения, по должности штатных художников при дворах, сочинявших от начала и до конца праздничные зрелища вроде того шествия, во время которого выкрашенный золотой краской мальчик изображал Золотой век, все знают эту грустную историю. Да-да, Ланта в детстве читала: он ведь, бедный, задохнулся. Так думали во времена Леонардо, а теперь ученые считают, что мальчик умер от переохлаждения. От переохлаждения? Это в Италии-то? Господи, бывает же не повезет! Ланта обожает Италию, особенно Венецию, ее лучшая, наверное, и самая дорогая ей работа – новогодний корпоратив в стиле венецианского карнавала XVIII века, условно, конечно, исходя из бюджета заказчика. Помогает ли ее профессия?.. Она давно училась на психфаке, еще дома, в Астрахани. Уже в Москве окончила аудиторские курсы. Ланта долго шла к своему призванию, хотя по-своему оно всегда давало о себе знать. Сколько Ланта себя помнит, ей хочется, чтобы людям было хорошо.

Ланта жестикулировала, и стоило ее ладоням оторваться от Рикки, как малыш начинал сиротливо суетиться, и тогда три пары глаз сходились на нем, и позже этот человек-зверек в хромированной оболочке, по недоразумению приписанный к псовым, стал для меня фокусом щемящего чувства, которое призвано было быть радостью и к которому призывалась я, которое вменялось мне как радость третьего за единство двоих.

Я простилась с Кириллом и Лантой на тротуаре перед кафе, Ланта обняла меня, передав Кириллу на это время Рикки; мы должны обязательно впредь выбираться куда-нибудь в таком составе, а еще лучше расширить компанию за счет друзей, их и моих. Кирилл и Ланта направлялись к Пушкинской площади, мне доставалась Триумфальная, и когда наши спины достаточно разошлись, я отпустила клапан, и потекли слезы.

В легкости моей болтовни с Лантой не было притворства, и, выйдя на улицу, я ушла за кулисы не как лицедейка, скинувшая образ, а как трюкач, впусивший боль перелома. Не ревность столкнула меня с трапеции, не она раздробила кость, ревность была уже слишком истерта – об золото еще недавно, так, по крайней мере, мне казалось, истерта до дряблой пленки, которую, готовую, на Ланту достаточно было перенести, и я перенесла ее, не глядя. Слишком законная, чтобы сокрушить, ревность полагалась мне, в конце концов, по праву сестры – но именно правом сестры я не обладала, потому что не была сестрой, не была ею ни минуты и быть не смогу. Невозможность, *Кон-рад*, со-радоваться сокрушала меня, потому что, поняла я, *Sehnsucht* и *Herzeleid* лютуют не когда мы чувствуем нечто, а когда не можем чувствовать того, что должны.

Я не разделила с Кириллом праздник обновления и поделиться праздником не сумела, я не могла сделать так, чтобы ему было хорошо, подарить ему сверканье самоцветов и самоцветков. То, что подарить я могла, утратило вид: в отличие от турматин и смарагдов, этому серебряному кольцу, парному к тому, которое я носила, вредили и тьма тайника, и лежка. Несколько раз, считая детские влюбленности, я доставала его на свет, оно впитало отказы и многолетние периоды между, усвоило их, и они проступили на нем чернотой, в которую почти ушли буквы на ободке. Но мой неликвидный дар, прежде, чем стать им, прошел плавление, ковку и чеканку, за ним была мастерская с ее одиночеством и выдумкой. Дары Ланты прошли только творение, и за ними были живые недра.

Честная, карнавальная подделка ее льна и загара, эта шествующая впереди, напоказ, не стыдясь, ибо не лицемеря в своем обмане, краска лишь прилагалась к ее перевозданности, не снимая ту. Разнобой ее пластмассовой яркости, напоминающий о контрафактной «Барби», для Москвы архаичный и тем свежий (так ли давно она в столице, как говорит), по-женски чистые, не по-женски кукольные цвета делали ее настоящей, как может быть только одушевленная кукла, неестественность которой досталась ей по естеству, и чем больше в ней было сделанного, тем крепче было природное. Кукла, которая всегда ближе к природе человека, чем любой человек. Льняные волосы и розовые рукава, ее панцирь из фольги, ее *латы*, явился бесполез-

ный, не бодрящий каламбур, Брюнхильды, Жанны, Ланселотты, ее конь, чарами какой-нибудь волхвующей интриганки сведенный до беспомощного уродца, но не брошенный и сопровождающий иконографическим атрибутам, воплощенной верностью ему его госпожи. Она была архаична, как все новорожденное и вечно молодое. Как бы давно Ланта ни обреталась в Москве, она казалась только начавшейся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.